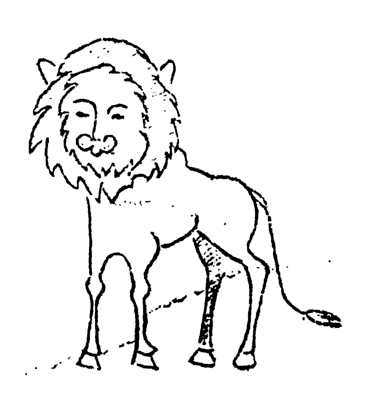

Лев
ЛОСЕВ
СТИХИ





Лев Лосев

Стихи



Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2012

УДК 821.161.1–14
ББК 84 (2Рос=Рус) 6–5
Л 79

Л 79 **Лосев Лев.** Стихи. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. — 600 с., ил.

ISBN 978-5-89059-172-2

Лев Владимирович Лосев (1937–2009) родился в Ленинграде, окончил Ленинградский университет, работал редактором в журнале «Костер» (1962–1975). В 1976 г. эмигрировал в США, закончил аспирантуру Мичиганского университета, преподавал русскую литературу в Дартмутском колледже в штате Нью-Гэмпшир. Стихи начал печатать с 1979 г., сначала в эмигрантских изданиях, а с 1988 г. и в России.

В своем творчестве Лосев склонен к интеллектуальной игре, его стихи полны аллюзий из русской литературы всех веков. По словам Сергея Гандлевского, в них звучит «диковинное наречие советского социального отщепенства», метафизические раздумья уживаются со злобой дня, мировая скорбь соседствует с каламбуром.

Издание представляет собой наиболее полное на сегодняшний день собрание стихотворений поэта.

Редакция благодарит Сергея Марковича Гандлевского
и Геннадия Федоровича Комарова
за помощь в подготовке книги к печати

На контртитуле:
Иосиф Бродский. Портрет Льва Лосева. 1975.
Публикуется с разрешения Фонда
по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского

В оформлении обложки использованы рисунки
Ю. Лобачева и М. Беломлинского (1-я страница)
и Г. Ковенчука (4-я страница) из журнала «Костер» 1962–1964 годов

Сергей Гандлевский

НЕЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

Скорее всего, у каждого из нас есть добрые знакомые и товарищи. Но с одними из них, при прочих равных, мы чувствуем себя легко и непринужденно, а общение с другими сто́ит известного напряжения и дается не без труда. То же и в поэзии. Бывают стихи — и талантливые, — от которых почти физически устаешь, будто долго смотрел на почетный караул. Кажется, что автор взял на себя важные обязательства, встал в позу, причем неудобную, а сменить ее — выше его сил. Не такова лирика Льва Лосева. Первое, что бросается в глаза читателю, — Лосев не позирует. Его интонация — эта жестикуляция речи — совершенно соразмерна настроению поэта; он нигде не пережимает, не кричит попусту «волки, волки» — иными словами, ведет себя естественно.

Лосев припозднился на праздник поэзии, до поры ему хватало, по его же признанию, «чудных сочинений» ленинградских друзей и сверстников. Но Лосева не смутило, что он пришел в самый разгар события. У него хватило бодрости духа и веселости сесть за стол как ни в чем не бывало, даром что коронные блюда малость заветрились, салаты разворочены, десерт уже подан, кое-где окурки в шпротах, а в воздухе висит такой густой застольный галдеж, что, кажется, слова невозможно вставить. Но именно эта стадия празднества Лосеву и сделалась мила: строй нарушен, все без чинов, разговор представляет собою гремучую смесь учености и похабщины, цитаты из классиков перемежаются с дворовыми прибаутками, речь педанта-эрудита перебивают глумливые замечания ёрника, и акустика беседы насыщена литературными ассоциациями. Праздником именно такой словесности делится с читателем поэт Лев Лосев.

Лосев пишет на языке «дружеских врак». На диковинном наречии советского социального отщепенства. Этим языком он владеет в совершенстве.

Вереницу беспечных лирических героев русской поэзии — «праздных гуляк», повес и хулиганов — Лосев дополнил еще одним обаятельным и новым для нее персонажем — интеллигентом-забулдыгой. Поэт

пожалел и приветил речь-полукровку — гибрид «классической розы и советского дичка».

Существует таинственная связь между поэзией и жалостью. Набоковский Джон Шейд на вопрос, что́ для него, поэта, слово-пароль, ответил, не задумываясь: «жалость». Есть подозрение, что в поэтическом участии нуждаются, в первую очередь, затрапезные явления — жизнь с приметами ущерба: проходные дворы, пересуды в трамвае, будничная нервотрепка, редкие минуты беспечности,

Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока…

А совершенство доводить до ума средствами искусства нет надобности: оно уже совершенно.

Капустничество, кураж, малогабаритный карнавал — шутовское облачение такого серьезного и сущностного для лирики качества, как непринужденность. Стихи Лосева застрахованы от стремительного старения и пародирования. Этот стиль трудно перерасти, подытожить и передразнить — он и без постороннего вмешательства подмигивает каждым словом.

Удельный вес современного фольклора велик здесь чрезвычайно. Отчего эти беспризорные речения придают литературе привкус достоверности, я сказать не берусь, но только это так. Советское народное творчество просвечивает сквозь многие строки Лосева. Соображения благопристойности делают для критика затруднительным прилюдный подробный разбор некоторых речевых прототипов лосевской лирики, поскольку среди них — даже надписи в общественных туалетах, но внимательному читателю с советским прошлым придет на память и детсадовское детство, и пионерское отрочество, и армейская или студенческая юность. И вся эта разношерстная, подчас скоромная лексика интонируется автором по-своему, звучит очень на лосевский лад.

Для пишущего обретение своей интонации, собственного голоса — событие, равносильное освобождению: теперь он волен говорить о чем заблагорассудится. Уже не преходящая тема будет делать произведе-

ние значительным, не прилежное следование литературному канону современной поэту поры, а одно только «личное присутствие» автора, то есть произнесение им чего бы то ни было.

В литературе появляется поэтическая личность, и литература незамедлительно дает утвердительный ответ на наш главный, требовательный и тревожный, вопрос: «Есть здесь кто живой?».

Поэзия умеет вбирать в легкие израсходованную речь и выдыхать ее, оживив, обогатив кислородом. Оправдав и воскресив утилизированный было язык, а значит, и то, что за ним стоит. И читателю уже не важно: в первосортную эпоху трудился поэт или во второсортную — всюду жизнь, жизнь как-никак. А раз так — поэты реабилитируют свое время и его обитателей. Вот и Лев Лосев, получается, замолвил слово за довольно посредственные времена.

Надо иметь подлинное дарование, чтобы в кухонном многоглаголании и зубоскальстве — в сотрясении водуха — различить лирическую ноту, которую — теперь она и нам слышна — мы уже не забудем.

Сама камерность лосевского писательства — вызов русской литературе, знаменитой громадьем своих намерений, издевательство над школьной темой «О назначении поэта». Он, Лосев, и есть заклейменный Лениным «пописывающий писатель». Но, как это ни парадоксально, лучший (из известных мне) образец гражданской лирики за последнее время принадлежит перу Льва Лосева. В том числе и потому, что написаны стихи не трибуном-профессионалом в сознании собственного долга и общественной значимости, а частным лицом, дилетантом. Вообще, к слову сказать, я убежден, что *психический* дилетантизм — хорошее противоядие от нарочитости, и всякого рода вкусовых издержек узкой специализации — и залог внутренней свободы. Привожу помянутое стихотворение полностью:

«Извини, что украла», — говорю я воровке;
«Обязуюсь не говорить о веревке», —
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая проблядь
Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.
Я молчу.

Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овес,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.

Читатели Лосева становятся свидетелями замечательного и многозначительного превращения: стихи на случай, обаятельные пустяки, филологические дурачества на наших глазах выплескиваются за переплет альбома и впадают в течение отечественной поэзии, отчего она только выигрывает. Еще Честертон заметил, что множество начинаний, замышлявшихся на века, забывалось до обидного скоро, а затеянному от нечего делать, смеха ради случалось пережить поколение — и не одно.

От родительского жанра — альбома — стих поэта унаследовал щегольство, склонность к словесной эквилибристике, делающей лирику Лосева, помимо всего прочего, наглядной энциклопедией русской версификации.

Эмиграция, может статься, вопреки советскому предрассудку, помогает слогу быть в форме. Чужбина прививает бережность к родному языку — ведь он под угрозой забывания — и, в то же время, оделяет дополнительным зрением, взглядом на родной язык как на иностранный; на живой — как на мертвый. Бродский сказал: «Именно в эмиграции я остался тет-а-тет с языком». Пускает пузыри, развивается и мужает недоросль-язык, конечно, дома, но лоск и вышколенность, случается, приобретает «в людях», за границей.

Творчество Льва Лосева имеет непосредственное отношение к старинной смеховой традиции. А у нее в обычае проверять на прочность окруженные безоговорочным почитанием культурные авторитеты и установления. Посылать их, простите за выражение, «путем зерна». Подлинным ценностям такое унижение идет только на пользу, участь дутых величин — незавидна.

Артистичное глумление Лосева, отсутствие у него благочестивого — с придыханием — отношения к великой литературе прошлого объясняется предельной насущностью ее содержания, а всё предельно насущное сто́ит очистительной ереси.

В стихотворении «Джентрификация» исторический процесс предстал Лосеву безрадостным замкнутым кругом:

Как только нас тоска последняя прошьет,
век девятнадцатый вернется
и реку вновь впряжет,
закат окно фабричное прожжет,
и на щеках рабочего народца

взойдет заря туберкулеза,
и заскулит ошпаренный щенок,
и запоют станки многоголосо,
и заснет челнок,
и застучат колеса.

Ответом на такой мировоззренческий мрак могут быть или отчаяние, или мрачная веселость. Лев Лосев выбрал второе. Он действительно очень веселый и мрачный писатель.

Лирика по большей части ведет речь о грустном — об одиночестве, утратах, ущербе и скоротечности жизни. Но та же лирика дает и уроки мужества, научает терпению, примиряет с жизнью. Этот парадокс верен и применительно к поэзии Льва Лосева.

Редкий и драгоценный дар: утешать, не вводя в заблуждение, ничего особенно утешительного не сообщая. «Чем же претворяется горечь в утешение?» — задался вопросом Ходасевич. И сам себе ответил: «Созерцанием творческого акта — ничем более».

Меланхолическая наблюдательность, восприимчивость к постороннему эстетическому опыту, историко-культурное чутье исключают для Льва Лосева представление о себе как о первооткрывателе, о собственной речи — как о первозданной. Для него само собою разумеется, что пишущий складывает «чужую песню», главное — произнести её «как свою».

У лирики Лосева длинная литературная предыстория, каждое его стихотворение надежно и сознательно укоренено в словесности. Вот, например:

Жизнь подносила огромные дули
с наваром.
Вот ты доехал до Ultima Thule
со своим самоваром.

Щепочки, точечки, всё торопливое
(взятое в скобку) —
всё, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.

Сизо-прозрачный, приятный, отеческий
вьется.
Льется горячее, очень горячее
льется.

Прекрасные стихи, обычное лосевское хитросплетение: всего-то три четверостишия — но здесь и античность, и русская поговорка, и каламбур, и грубая идиома, и явная отсылка к Державину, и неявная, но, на мой взгляд, ключевая — к «Самовару» Вяземского. Может быть, некоторый биографический параллелизм дружб и судеб, отстоящих друг от друга на полтора столетия, привлек внимание автора и он понарошку, по-писательски присматривается к этой симметрии.

Панегирик менее всего предполагает педантизм и препирательство с чествуемым лицом. Хозяин — барин, Вяземский так Вяземский. В любом случае, одна, самая общая, причина для подобного сближения очевидна сразу, без литературоведческих разысканий. Вспомним трогательные строки из седьмой главы «Евгения Онегина»:

У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел...

Талант Льва Лосева занимает душу.

Чудесный десант

1975–1985

ОТ АВТОРА

Все стихотворения, собранные в этой книге, за исключением одного, чуть более раннего, написаны между 1974 и 1985 годами, т. е. я начал писать стихи поздно, тридцати семи лет. Разумеется, имели место кое-какие опыты в детстве и в годы учения в Ленинградском университете (1954–1959), но то не в счет. Почему так поздно? Может быть, потому, что я родился в семье литераторов, рос в литературной среде, а такое детство по крайней мере избавляет от самоуверенного юношеского эпигонства, от преувеличенно серьезного отношения к собственному творчеству.

Счастливые обстоятельства моей молодости — одна встреча с Пастернаком и годы дружбы с целым созвездием поэтических дарований: Сергей Кулле (1936–1984), Глеб Горбовский, Евгений Рейн, Михаил Ерёмин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Иосиф Бродский. Мои творческие запросы сполна удовлетворялись чтением их чудных сочинений. Сам же я в те годы писал пьесы для кукольного театра и стишки для маленьких детей, занимался филологией.

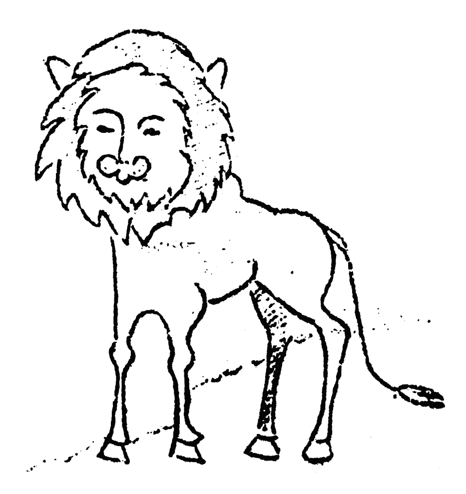
Но вот иные поэтические голоса замолкли, иные притихли. Я перестал быть молод. Одно время серьезно болел. Появилась возможность внимательнее прислушаться к себе, что поначалу я делал с большим недоверием. Или, если уж пускать этот самоанализ по наклонной плоскости метафор, не прислушаться, а приглядеться. И в этом тусклом и к тому времени, начало семидесятых годов, уже треснувшем зеркале я начал различать лицо, странным образом и похожее, и непохожее ни на кого из вышеназванных, любимых мной поэтов. Уж не мое ли?

В 1979 году я показал свои стихи друзьям, издающим в Париже журналы на русском языке, «Эхо» и «Континент». Надо сказать, что к тому времени я уже три года как покинул родные края и жил в Америке. Редакторам стихи понравились, и с тех пор они печатали все, что я им предлагал, за что я им от души благодарен.

Я также глубоко благодарен издательству «Эрмитаж», предложившему мне выпустить этот сборник, состоящий из четырех книжек: «Памяти водки», «Продленный день», «Против музыки» и «Урок фотографии».

В молодые годы я носил имя Лев Лифшиц. Но, поскольку в те же годы я начал работать в детской литературе, мой отец, поэт и детский писатель Владимир Лифшиц (1913–1978), сказал мне: «Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе — бери псевдоним». «Вот ты и придумай», — сказал я. «Лосев!» — с бухты-барахты сказал отец.

В честь моего переименования М. Ерёмин нарисовал вот такую картинку:



Начитанный Ерёмин, безусловно, намекал на воспетую Хлебниковым метаморфозу:

Оленю нету, нет спасенья.
Но вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать.

Если читатель найдет хоть немного этого искусства в моей книге, я буду счастлив.

Лев Лосев
Хановер, Нью-Хэмпшир
24 февраля 1985 г.

ПАМЯТИ ВОДКИ

* * *

Он говорил: «А это базилик».
И с грядки на английскую тарелку —
румяную редиску, лука стрелку,
и пес вихлялся, вывалив язык.
Он по-простому звал меня — Алеха.
«Давай еще, по-русски, под пейзаж».
Нам стало хорошо. Нам стало плохо.
Залив был Финский. Это значит наш.

О, родина с великой буквы Р,
вернее, С, вернее, *Еръ* несносный,
бессменный воздух наш орденоносный
и почва — инвалид и кавалер.
Простые имена — Упырь, Редедя,
Союз чека, быка и мужика,
лес имени товарища Медведя,
луг имени товарища Жука.

В Сибири ястреб уронил слезу.
В Москве взошла на кафедру былинка.
Ругнулись сверху. Пукнули внизу.
Задребезжал фарфор, и вышел Глинка.
Конь-Пушкин, закусивший удила,
сей китоврас, восславивший свободу.
Давали воблу — тысяча народу.
Давали «Сильву». Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растет
на грядке возле бывшего залива.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС

Юзу Алешковскому

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
Ф. Глинка

Над невской башней тишина.
Она опять позолотела.
Вот едет женщина одна.
Она опять подзалетела.

Все отражает лунный лик,
воспетый сонмищем поэтов, —
не только часового штык,
но много колющих предметов.

Блеснет Адмиралтейства шприц,
и местная анестезия
вмиг проморозит до границ
то место, где была Россия.

Окоченение к лицу
не только в чреве недоноску,
но и его недоотцу,
с утра упившемуся в доску.

Подходит недорождество,
мертво от недостатка елок.
В стране пустых небес и полок
уж не родится ничего.

Мелькает мертвый Летний сад.
Вот едет женщина назад.
Ее искусаны уста.
И башня невская пуста.

РОТА ЭРОТА

Нас умолял полковник наш, бурбон,
пропахший коньяком и сапогами,
не разлеплять любви бутон
нетерпеливыми руками.
А ты не слышал разве, блядь, —
не разлеплять.

Солдаты уходили в самовол
и возвращались, гадостью налившись,
в шатер, где спал, как Соломон,
гранатометчик Лева Лифшиц.
В полста ноздрей сопели мы —
он пел псалмы.

«В ландшафте сна деревья завиты,
вытягивается водокачки шея,
две безымянных высоты,
в цветочках узкая траншея».
Полковник головой кивал:
бряцай, кимвал!

И он бряцал: «Уста — гранаты, мед —
ее слова. Но в них сокрыто жало...»
И то, что он вставлял в гранатомет,
летело вдаль, но цель не поражало.

РАЗГОВОР С НЬЮ-ЙОРКСКИМ ПОЭТОМ

Парень был с небольшим приветом.
Он спросил, улыбаясь при этом:
«Вы куда поедете летом?»

— Только вам. Как поэт поэту.
Я в родной свой город поеду.
Там источник родимой речи.
Он построен на месте встречи
Элефанта с собакой Моськой.
Туда дамы ездят на грязи.
Он прекрасно описан в рассказе
А. П. Чехова «Дама с авоськой».

Я возьму свой паспорт еврейский.
Сяду я в самолет корейский.
Осеню себя знаком креста —
и с размаху в родные места!

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА

Маманя корове хвостом крутить не велит.
Батя не помнит, с какой он войны инвалид.
Учитель велит: опишите своими словами.
А мои слова — только *глит* и *блит*.

Вот здесь было поле. В поле росла конопля.
Хорошая телка стоила три рубля.
Было тепло. Протекала речка.
Стало зябко. Течет сопля.

Посмотри на картинку и придумай красивый рассказ.
Однажды в принцессу влюбился простой свинопас.
Вернее, в свинарку. Вернее, простой участковый.
Вернее, влупил. Хорошо, что не в глаз.

Однажды Ваське Белову привиделся Васька Шукшин.
Покойник стоял пред живым, проглотивши аршин,
и что-то шуршал. Только где разберешь — то ли голос,
то ль ветер шумит между ржавых комбайнов и лопнувших шин.

ПРОРОЧЕСТВО

Как будто мало настрадалась
Россия бедная и так,
нам предрекает Нострадамус
период ядерных атак.

Засвищут, распадаясь, ядра,
предсмертно птицы закружат,
и, улыбаясь плотоядно,
эскадра окружит Кронштадт.

Се препоясаны мечами
идут русские мещане.
Оставаться дома им бы,
но гляди, как дивно
светятся над ними нимбы
радиоактивно.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Где некий храм струился в небеса,
теперь там головешки, кучки кала
и узкая канала полоса,
где Вытегра когда-то вытекала
из озера. Тихонечко бася,
ползет буксир. Накрапывает дрема.
Последняя на область колбаса
повисла на шесте аэродрома.
Пилот уже с утра залил глаза
и дрыхнет, завернувшись в плащ-палатку.
Сегодня нам не улететь. Коза
общипывает взлетную площадку.
Спроси пилота, ну зачем он пьет,
он ничего ответить не сумеет.
Ну, дождик. Отменяется полет.
Ну, дождик сеет. Ну, коза не блеет.

Коза молчит и думает свое,
и взглядом, пожелтелым от люцерны,
она низводит наземь воронье,
освобождая небеса от скверны,
и тут же превращает птичью рать
в немытых пэтэушников команду.
Их тянет на пожарище пожрать,
пожарить девок, потравить баланду.
Как много их шагает сквозь туман,
бутылки под шинелками припрятав,
как много среди юных россиян
страдающих поносом геростратов.

Кто в этом нас посмеет укорить —
что погорели, не дойдя до цели.

Пилот проснулся. Хочется курить.
Есть беломор. Но спички отсырели.

М

М-М-М-М-М-М — кирпичный скалозуб
над деснами под цвет мясного фарша
несвежего. Под звуки полумарша
над главным трупом ходит полутруп.

Ну, Капельдудкин, что же ты, валяй,
чтоб застучали под асфальтом кости —
котлетка Сталина, протухшая от злости,
Калинычи и прочий де-воляй.

М-М-М-М-М-М — кремлевская стена,
морока и московское мычанье.
Милиционер мне сделал замечанье,
что, мол, не гоже облегчаться на

траву вблизи бессмертной мостовой,
где Ленина видал любой булыжник.
Сказал, что оскорбляю чувства ближних.
Но не забрал гуманный постовой.

Конечно, праздник — пьянка и расход:
летят шары, надуты перегаром,
и вся Москва под красным пеньюаром
корячится. Но это же раз в год.

На девушек одних в такие дни
уходит масса кумача и ваты,
и у парней, рыжи и кудреваты,
прически вылезают из мотни.

Раз в год даешь разгул, доступный всем.
Ура, бумажный розан демонстраций.
Но вот уж демон власти, рад стараться,
усталым зажигает букву М.

Вот город. Вот портреты в пиджаках.
Вот улица. Вот нищие жилища.
Желудком не удержанная пища.
Лучинки в леденцовых петушках.

Вот женщина стоит — подобье тумбы
афишной и снаружи и внутри,
и до утра к ней прислонились три
пигмея из мучилища Лумумбы.

ВАЛЕ́РИК

Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь...
А. С. Пушкин

Вот ручка — не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там — даешь трудодней?

Пока мы стояли в Кабуле,
почти до конца декабря,
ребята на город тянули,
но я так считаю, что зря.

Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти,
ну, как их, минет не минет...

Трясутся на них «муэдзины»
не хуже твоих мандавох...
Зато шашлыки, магазины —
ну, нет, городишко не плох.

Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделенным пойдем,
возьмем у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом,

и так они тянутся, тезка,
кури хоть две пачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.

И надо же как не поперло:
С какой-то берданки, с говна
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул — и хана.

Машина мотнулась направо.
Я влево подался, в кювет.
А тут косорылых орава,
втащили в кусты и привет.

Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка, отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я очень сначала блажил.

Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделенный кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.

ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА

Доходят ли до тебя мои письма?
Я по-прежнему...

М.

По воскресеньям дети шли проверить,
по-прежнему ли плавают в бассейне
размокший хлеб с конфетною оберткой,
по-прежнему ли к проволоке вольера
приклеены пометом пух и перья,
по-прежнему ли подгнивает кость
на отсыревших от мочи опилках,
по-прежнему ли с нечеловеческой тоской
ревет кассирша в деревянной клетке.

Все оставалось на своих местах.
Палила пушка, но часы стояли.
Трамвай бренчал, но не съезжал с моста.
Река поплескивала, но не текла.
И мы прощались, но не расставались.
И только пресловутый невский ветер
куражился на диком перекрестке
меж зданий государственной мечети,
конструктивистского острога и
храмоподобья хамовитой знати,
насилуя прохожих в подворотнях,
так беспощадно плащи срывая, *что*
казался одушевленным.

Но ветер вдруг в парадной помер.
Подошел трамвай мой номер.
Все задвигалось, пошло.
И это все произошло
с поспешностью дурацкого экспромта.

Друг в прошлое запрыгал на ходу,
одной ногой в гноящемся аду,
другой ногой на движущемся чем-то.

* * *

Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
(переживший монгольское иго,
пятилетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига,
и под звуки падепатинера
Меттерних против нас танцевал;
под асфальтом все те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;
Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил с корешами посылки
и один персонально убег).
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка —
не пропить, так хоть ворот рвануть.

ПАМЯТИ МОСКВЫ

Длиннорукая самка, судейский примат.
По бокам заседают диамат и истмат.
Суд закрыт и заплечен.

В гальванической ванне кремлевский кадавр
потребляет на завтрак дефицитный кавьяр,
растворимую печень.

В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент,
прикупить нету денег.

Потому и застыл этот башенный кран.
Недостройка. Плакат
«Пролетарий всех стран, не вставай с четверенек!»

ПАМЯТИ ПСКОВА

Когда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы йогов,
умеющих задерживать дыхание
с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
(в ведомостях блокноты со стихами),
торчал в райцентре, где меня уж нет.

Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял свое и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.

Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им.
И я им говорил: «А ну дыхни».

* * *

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.

Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

ЧУДЕСНЫЙ ДЕСАНТ

Все шло, как обычно идет.
Томимый тоской о субботе,
толокся в трамвае народ,
томимый тоской о компоте,

тащился с прогулки детсад.
Вдруг ангелов Божьих бригада,
небесный чудесный десант
свалился на ад Ленинграда.

Базука тряхнула кусты
вокруг Эрмитажа. Осанна!
Уже захватили мосты,
вокзалы, кафе «Квисисана».

Запоры тюрьмы смещены
гранатой и словом Господним.
Заложники чуть смущены —
кто спал,
кто нетрезв,
кто в исподнем.

Сюда — Михаил, Леонид,
три женщины, Юрий, Володи!
На запад машина летит.
Мы выиграли, вы на свободе.

Шуршание раненых крыл,
влачащихся по тротуарам.
Отлет вертолета прикрыл
отряд минометным ударом.

Но таяли силы, как воск,
измотанной ангельской роты
под натиском внутренних войск,
понуро бредущих с работы.

И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульянке, Гражданке, Энтеббе.

И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный нами понтон
на отмели подле Кронштадта.

ПАМЯТИ ЛИТВЫ
(вальс)

Дом из тумана, как дом из самана,
домик писателя Томаса Манна,
добрый, должно быть, был бурш.
Долго ль приладить колеса к турусам —
в гости за речку к повымершим пруссам
правит повымерший курш.

Лиф поправляет лениво рыбачка.
Shit-с на песке оставляет собачка.
Мне наплевать, хоть бы хны.
Видно, в горячую кровь Авраама
влита холодная лимфа саама,
студень угрюмой чухны.

И, на лице забывая ухмылку,
ясно так вижу Казиса и Милду
в сонме Данут и Бирут.
Знаете, то, что нам кажется раем,
мы, выясняется, не выбираем,
нас на цугундер берут.

Вымерли гунны, латиняне, тюрки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не повымереть. Кто не повымер.
«Умер» зудит, обезумев, как «immer»,
в долгой зевоте jamais.

ВАЛЬС «ФАКТОРИЯ»

У моря чего не находишь,
чего оно не нанесет.
Вот так вот, походишь, походишь,
глядишь, Крузенштерн приплывет.
С приказом от адмиралтейства
факторию нашу закрыть,
простить нам все наши злодейства
и нас в Петербург воротить.

С Аринами спят на перинах
матросы. Не свистан аврал.
Пока еще в гардемаринах
спасительный тот адмирал.
Он так непростительно молод,
вальсирует, глушит клико.
Как бабочка, шпилем проколот
тот клипер. И так далеко.

* * *

А лес в неведомых дорожках —
на деле гроб.
Так нас учил на курьих ножках
профессор Пропп.

Под утро удалось заснуть, и вновь
я посетил тот уголок кошмара,
где ко всему привычная избушка
переминается на курьих ножках,
привычно оборачиваясь задом
к еловому щетинистому лесу
(и лес хрипит, и хлюпает, и стонет,
медвежеватый, весь в сержантских лычках,
отличник пограничной службы — лес),
стоит, стоит, окошками моргает
и говорит: *«Сия дуэль ужасна!»*
К чему сей сон? При чем здесь Алешковский?
Куда идут ремесленники строем?
Какому их обучат ремеслу?
Они идут навстречу.
                                        Здравствуй, племя
младое, незнакомое. Не дай
мне Бог увидеть твой могучий
возраст...

В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Вот
он
мир
Твой
тварный —
холод, слякоть, пар.
ЛЕНИНГРАД ТОВАРНЫЙ.
Нищенский товар.
Железного каната ржавые ростки.
Ведущие куда-то скользкие мостки.
Мясокомбината голодные свистки.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Чего там — каркай не каркай,
проворонили вы ее.
Над раздавленной товаркой
разгуливает воронье.
Красная лужица сохнет ярко.
И меткая ветка горда, уроня
источенное червями яблоко
на задроченного врачами меня.

1937–1947–1977

На даче спят. В саду, до пят
закутанный в лихую бурку,
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.

*

Плакат с улыбкой Мамлакат.

И Бессарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник —
его прокуренный зубешник
все, все сумел перемолоть.
Не досчитаться дядь и теть.
В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса — «Таня». Книга — «Соть».

*

Господь, Ты создал эту плоть.

Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.
И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
«Возьми с собою сто рублей».

*

И по такой, грущу по ней.

«Под одеяло рук не прячь,
и вырастешь таким, как Хомич.
Не пи..ди у папаши мелочь.
Не плачь от мелких неудач».
«Ты все концы в войну не прячь».
(«Да и была ли, Ерофеич?» —
«Небось приснилась, Спотыкач».)

*

Мой дедушка — военный врач.

Воспоминаньем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой, в огромность
квартиры, наводящей грусть.

1974

Знаешь ты, из чего состоит
отсырелый пейзаж Писарро,
так бери же скорее перо,
опиши нам, каков этот вид
штукатурки в потеках дождя,
в электричестве тусклом окно,
расплывающееся пятно
на холстинном потртете вождя,
этот мокрый снежок, что сечет
слово СЛАВА о левом плече
и соседнее слово ПОЧЕТ
с завалившейся буквою Ч.
Эта морось еще не метель,
но стучится с утра дотемна
в золотую фольгу, в канитель,
в сероватую вату окна.
Так бери же скорее перо,
сам не зная, куда ты пойдешь,
отступая от пасти метро
к мельтешению шин и подошв.

Ошалев от трамвайных звонков
воробей поучает птенца:
«Десять лет до скончанья веков
Ты родился в начале конца».
В кабинете Большого Хамла
поднимаются волны тепла,
и закрыто окно от дождя
трехметровой прической вождя.
Над чайком восходит парок.

Он читает в газете урок.
И гугнивый вождя говорок
телепается между строк.
Но владельцу роскошных палат
невдомек, что уж сутки подряд
дожидался Инфаркт в проходной.
«Нет приема, тебе говорят».
«Ничего, я зайду в выходной».

Коль до трещинки грязной знаком
штукатурный пейзаж Утрилло,
то бери поскорей помело,
облети этот город кругом.
Под тобою на мокрых путях
поезда, и блестит диабаз,
и старухи в очередях
выжидают последний припас,
перед тем как удариться ниц
в сероватую вату больниц.
Воробей где-то рядом поет,
с лету какает птенчик на Ч,
и следит твой прощальный полет
слово СЛАВА о левом плече.

АВТОБУС ИЗ НАРВЫ

Это так, в порядке бреда.
Едут рядом два техреда.
Предприятье «Фосфорит»
отравляет всю природу,
то есть почву, воздух, воду,
скоро всех нас уморит.

Тряская дорога. Пово-
рот. Кривит усмешка снова
рот. Уж триста лет подряд,
соревнуясь — кто зловонней,
Руссий, Пруссий и Ливоний
предприятия дымят.

Над откосом подожженным
возвышается донжоном
старый замок и в упор
видит русского соседа.
Между ними не беседа
через речку, а укор.

Русский замок — маразматик,
в обветшалый казематик
заползает вялый слизнь.
Это так — помарки в гранки,
заготовочки, болванки,
как и вся, вообще-то, жизнь.

* * *

Спой еще, Александр Похмелыч,
я тебя на такси отвезу...
Разгулялась пузатая мелочь,
подвывает, пускает слезу.

Он не станет. Его не упросит
даже эта в шуршащем шелку.
Он себе одному преподносит
что осталось у нас коньяку.

Табака, коньяка и катара
прогулялся по горлу наждак.
В свой чехол заползает гитара.
Заграничный напялен пиджак.

Изучает на скатерти пятна
наш певец, и усат, и носат,
и уже никому не понятно,
что творилось минуту назад.

Не наполнится сердце любовью
и на подвиг нас не поведет,
и тиран исторической бровью
истерически не поведет.

Водка выпита. Песенка спета.
Мы поели того и сего.
Как привязчива музыка эта.
Но важнее, важнее всего —

нет, не юмор, не хитрое что-то,
не карманчики с фигой внутри —
просто дерганье струн на три счета:
раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.

* * *

Я похмельем за виски оттаскан.
Не поднять тяжелой головы.
В грязноватом поезде татарском
подъезжаю к городу Москвы.
Под ногами глина чавк да чавк.
Вывески читаю: главк да главк.
Иностранец, уплативший трешку,
силится раскупорить матрешку.
В чайке едет вождь, скользя по ближним
взглядом приблизительно булыжным
(он лицом похож на радиатор
чайки). Нежно гладит гладиатор
(Главк), как кошку, мелкую бутылку,
благодать сулящую затылку.
……………………………………..
Я пойду в харчевню «Арарат».
Там полно галдящих и курящих.
Там вино, чеснок, бараний хрящик
по душам со мной поговорят.

* * *

Под стрехою на самом верху
непонятно написано ХУ.
Тот, кто этот девиз написал,
тот дерзнул угрожать небесам.
Сокрушил, словно крепость врагов,
ветхий храм наших дряхлых богов.
У небес для забытых людей
он исхитил, второй Прометей,
не огонь, голубой огонек —
телевизоры в избах зажег.
Он презрел и опасность и боль.
Его печень клюет алкоголь,
принимающий облик орла,
но упрямо он пьет из горла,
к дому лестницу тащит опять,
чтобы надпись свою дописать.
Нашей грамоты крепкий знаток,
он поставит лихой завиток
над союзною буквою И,
завершая усилья свои.
Не берет его русский мороз,
не берет ни склероз, ни цирроз,
ни тоска, ни инфаркт, ни инсульт,
он продолжит фаллический культ,
воплотится в татарском словце
с поросячьим хвостом на конце.

* * *

Вот и осень. Такие дела.
Дочь сопливится. Кошка чумится.
Что ж ты, мама, меня родила?
Как же это могло получиться?

По-пустому полдня потеряв,
взять дневник, записать в нем хотя бы
«Вторник. Первое октября.
Дождик. Первое. Вторник. Октябрь».

К МОЕМУ ПОРТРЕТУ, НАРИСОВАННОМУ МОИМ СЫНОМ ДМИТРИЕМ

Очки мои, покидающие
лица моего границы,
два светлосиреневых глаза,
очерк носа неясен,
водопадом из шоколада
вниз борода струится, —
наверное, никогда еще
не был я так прекрасен.

С бумаги струйки беглые
сбегают полосами,
от сырости бумага
совсем лишилась глянца,
а щеки мои белые,
как два японских флага,
и два больших румянца
восходят над усами.

ЖАЛОБЫ КОТА

Горе мне, муки мне, ахти мне.
Не утешусь ни кошкой, ни мышкой.
Ах, темно в октябре, ах, темней
в октябре, чем у негра под мышкой.

Черт мне когти оставил в залог.
Календарный листок отрываю.
Увяжи меня, жизнь, в узелок,
увези на коленях в трамвае.

Или, чтобы скорее, в такси.
И, взглянув на народа скопленье,
у сердитой старухи спроси:
«Кто последний на усыпленье?»

* * *

Умер проклятый грузинский тиран.
То-то вздохнули свободно грузины.
Сколько угля, чугуна и резины
он им вставлял в производственный план.

План перевыполнен. Умер зараза.
Тихо скончался во сне.
Плавают крупные звезды Кавказа
в красном густом кахетинском вине.

* * *

На Аничков я вышел мост,
увидел лошадиный хвост
и человечий зад;
промеж чугунных ног — шалишь,
не признак мужества, а лишь
две складочки висят.

А тот, кто не жалея сил
(бедня-) конягу холостил,
был сходства не лишен
с железным парнем из гб,
с чугунным пухом на губе,
хотя и нагишом.

Тут мимолетный катерок,
как милицейский ветерок,
промчался, изменя
Фонтанки мутное стекло.
Я понял: время истекло.
Буквально — из меня.

Я обезвременен, я пуст,
я слышу оболочки хруст,
сполна я порастряс
свои утра и вечера,
их заменить пришла пора
квадратами пространств.

Ступенек столь короткий ряд,
на коих, нет, не говорят
последние слова.
(И в этом смысле самолет
напоминает эшафот.)
Куда направлен твой полет,
шальная голова?

ОТЛЕТ

и как будто легко я по трапу бежал,
в то же самое время я как будто лежал
неподвижен и счастлив всерьез,
удивляясь, что лица склоненных опухли от слез

и тогда вдруг что-то мелькнуло
в помертвелой моей голове,
я пальцами сделал латинское V
(а по-русски, состроил рога)
Помолитесь за меня, дурака.

ПРОДЛЕННЫЙ ДЕНЬ

и другие воспоминания о холодной погоде

На острове, хранящем имена
увечных девочек из княжеского рода,
в те незабвенные для сердца времена
всегда стояла теплая погода.

Нина Мохова

I

Я ясно вижу дачу и шиповник,
забор, калитку, ржавчину замка,
сатиновые складки шаровар,
за дерево хватаюсь, суевер.
Я ясно вижу — злится самовар,
как царь или какой-то офицер,
еловых шишек скушавший полковник
в султане лиловатого дымка.
Так близко — только руку протяни,
но зрелище порой невыносимо:
еще одна позорная Цусима,
японский флаг вчерашней простыни.

А на крыльце красивый человек
пьет чай в гостях, не пробуя варенья,
и говорит слова: «Всечеловек...
Арийца возлюби... еврей еврея...
Отсюда шаг один лишь, но куда?
До царства Божия? до адской диктатуры?»

Теперь опять зима и холода.
Оленей гонят хмурые каюры
в учебнике (стр. 23).
«Суп на плите, картошку сам свари».

Суп греется. Картошечка варится.
И опера по радио опять.
Я ясно слышу, что поют — арийцы,
но арии слова не разобрать.

II

Продленный день для стриженых голов
за частоколом двоек и колов,
там, за кордоном отнятых рогаток,
не так уж гадок.

Есть много средств, чтоб уберечь тепло
помимо ваты в окнах и замазки.
Неясно, как сквозь темное стекло,
я вижу путешествие указки
вниз, по маршруту перелетных птиц,
под взглядами лентяев и тупиц.
На юг, на юг, на юг, на юг, на юг.
Оно надежней, чем двойные рамы.
Напрасно академия наук
нам посылает вслед радиограммы.
«Я полагаю, доктор Ливингстон?»
В ответ счастливый стон.

Края, где календарь без января,
где прикрывают срам листочком рваным,
где существуют, обезьян варя,
рассовывая фиги по карманам.
Мы обруселых немцев имена
подарим этим островам счастливым,
засим вернемся в город над заливом —
есть карта полушарий у меня.

Вот желтый крейсер с мачтой золотой
посередине северной столицы.
В кают-компании трубочный застой.

Кругом висят портреты пустолицы.
То есть уже готовы для мальца
осанка, эполет под бакенбардом,
история побед над Бонапартом
в союзе с Нельсоном и дырка для лица.

Посвистывает боцман-троглодит.
На баке кок толкует с денщиками.
Со всех портретов на меня глядит
очкастый мальчик с толстыми щеками.

III

Евгений Шварц пугливым юморком
еще щекочет глотки и ладоши,
а кто-то с гардеробным номерком
уже несется получить галоши.
И вот стоит, закутан до бровей,
ждет тройку у Михайловского замка,
в кармане никнет скомканный трофей —
конфетный фантик, белая программка.

Опущен занавес. Погашен свет.
Смыт грим. Повешены кудель и пакля
на гвоздик до вечернего спектакля.
В театре хорошо, когда нас нет.
Герой, в итоге победивший зло,
бредет в буфет, талончик отрывая.
А нам сегодня крупно повезло:
мы очень скоро дождались трамвая.

Вот красный надвигается дракон,
горят во лбу два разноцветных глаза.
И долго-долго, до проспекта Газа,
нас будет пережевывать вагон.

IV

И он, трепеща от любви
и от близкой Смерти...
В. Жуковский

Над озером, где можно утонуть,
вдоль по шоссе, где могут раскорежить,
под небом реактивных выкрутас
я увидал в телеге тряской лошадь
и понял, в травоядное вглядясь,
что это дело можно оттянуть.
Все было, как в краю моем родном,
где пахнет сеном и собаки лают,
где пьют за Русь и ловят карасей,
где Клавы с Николаями гуляют,
где у меня полным-полно друзей.
Особенно я вспомнил об одном.

Неслыханный мороз стоял в Москве.
Мой друг был трезв, задумчив и с получки.
Он разделял купюры на две кучки.
Потом, подумав, брал с собою две.
Мы шли с ним в самый лучший ресторан,
куда нас недоверчиво впускали,
отыскивали лучший столик в зале,
и всякий сброд мгновенно прирастал.
К исходу пира тяжелел народ,
и только друг мой становился легок.
Тут выяснялось, что он дивный логик
и на себя все объяснить берет.
Он поднимался в свой немалый рост

средь стука вилок, кухонной вонищи
и говорил: «Друзья, мы снова нищи,
и это будет наш прощальный тост.
Так выпьем же за стройный ход планет,
за Пушкина, за русских и евреев
и сообщением порадуем лакеев
о том, что смерти не было и нет».

V

...в «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а, может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Все это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.

Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был желт, и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый, Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.

И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,

и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.

VI

Мой самый лучший друг и полувраг
не прибирает никогда постели.
Ого! за разговором просидели
мы целый день. В окошке полумрак,
разъезд с работы, мартовская муть,
присутствие реки за два квартала,
и я уже хочу, чтоб что-нибудь
нас от беседы нашей оторвало,
но продолжаю говорить про долг,
про крест, но он уже далече.
Он, руки накрест, взял себя за плечи
и съежился, как будто он продрог.
И этим совершенно женским жестом
он отвергает мой простой резон.
Как проницательно заметил Гершензон:
«Ущербное одноприродно с совершенством».

VII

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время погружался взглядом
в мерцающую груду хрусталя,
нависшую застывшим водопадом:
там умирал последний огонек,
и я его спасти уже не мог.

На сцене барин корчил мужика,
тряслась кулиса, лампочка мигала,
и музыка, как будто мы — зека,
командовала нами, помыкала,
на сцене дама руки изломала,
она в ушах производила звон,
она производила в душах шмон
и острые предметы изымала.

Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь — фужеры. Снежные заторы.

И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы
пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!» —
и солнце гладит бархатные шторы.

Там, за окном, в Михайловском саду
лишь снегири в суворовских мундирах,
два льва при них гуляют в командирах
с нашлепкой снега — здесь и на заду.
А дальше — заторошена Нева,
Карелия и Баренцева лужа,
откуда к нам приходит эта стужа,
что нашего основа естества.
Все, как задумал медный наш творец, —
у нас чем холоднее, тем интимней,
когда растаял Ледяной дворец,
мы навсегда другой воздвигли — Зимний.

И все же, откровенно говоря,
от оперного мерного прибоя
мне кажется порою с перепоя —
нужны России теплые моря!

ПОДПИСИ К ВИДЕННЫМ В ДЕТСТВЕ КАРТИНКАМ

1

Молился, чтоб Всевышний даровал
до вечера добраться до привала,
но вот он взобрался на перевал,
а спуска вниз как бы и не бывало.

Художник хмурый награвировал
верхушки сосен в глубине провала,
вот валунов одетый снегом вал
там, где вчера лавина пировала.

Летел снег вниз, летели мысли вспять,
в сон сен-бернар вошел вразвалку с неким
питьем, чтоб было слаще засыпать
и крепче спать засыпанному снегом.

2

Болотный мох и бочажки с водой
расхристанный валежник охраняет,
и христианства будущий святой
застыл в кустах и арбалет роняет.

Он даже приоткрыл слегка уста,
трет лоб рукой, глазам своим не веря,
увидев воссияние креста
между рогов доверчивого зверя.

А как гравер изображает свет?
Тем, что вокруг снованье и слоенье
штрихов, а самый свет и крест — лишь след
отсутствия его прикосновенья.

3

Штрих — слишком накренился этот бриг.
Разодран парус. Скалы слишком близки.
Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близко брег,
где водоросли, валуны и брызги.

Штрих — мрак. Штрих — шторм. Штрих — дождь.
Штрих — ветра вой.
Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты.
Лишь крошечный кружочек световой —
иллюминатор кормовой каюты.

Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он ее читает.

4

Змей, кольцами свивавшийся в дыре,
и тело, переплетшееся с телом, —
гравер, не поспевавший за Доре,
должно быть, слишком твердыми их сделал.

Крути картинку, сам перевернись,
но в том-то и загадочность спирали,
что не поймешь — ее спирали вниз
иль вверх ее могуче распирали.

Куда, художник, ты подзалетел —
что верх да низ! когда пружинит звонко
клубок переплетенных этих тел,
виток небес и адская воронка.

5

Мороз на стеклах и в каналах лед,
автомобили кашляют простудно,
последнее тепло Европа шлет
в свой крайний город, за которым тундра.

Здесь конькобежцев в сумерках едва
спасает городское освещенье.
Все знают — накануне Рождества
опасные возможны посещенья.

Куст роз преображается в куст льда,
а под окном, по краешку гравюры,
оленей гонят хмурые каюры.

Когда-нибудь я возвращусь туда.

ПРОТИВ МУЗЫКИ

Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин пишут миртовые рощи. Мы сегодня нашустрим чего-нибудь попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку, Васена, натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсиона. От Невы неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет. Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюрморта... Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень, темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч Еще одна картина Графин, графленый угольком, граненой рюмочки коснулся знать художник под хмельком заснул не проснулся.

Л. Лосев (1937–?). *НАТЮРМОРТ*.
Бумага, пиш. маш. Неоконч.

СОНЕТ

Мне памятник поставлен в кирпиче,
с пометой воробьиной на плече
там, где канал не превращает в пряжу
свою кудель и где лицом к Пассажу

сидит писатель с сахаром в моче
в саду при Александр Сергеиче,
и мне, глядящему на эту лажу,
дождь по щекам размазывает сажу.

Се не со всех боков оштукатурен
я там стою, пятиэтажный дурень,
я возвышаюсь там, кирпичный хрыч.

Вотще на броневик залез Ильич —
возносится превыше мой кирпич,
чем плешь его среди больниц и тюрем.

ПУТЕШЕСТВИЕ

1. В прирейнском парке

В. Максимову

Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.
В. Уфлянд

В парке оркестр занялся дележом.
Палочкой машет на них дирижер,
распределяет за нотою ноту:
эту кларнету, а эту фаготу,
эту валторне, а эту трубе,
то, что осталось, туба, тебе.

В парке под сводами грабов и буков,
копятся горы награбленных звуков:
черного вагнера, красного листа,
желтого с медленносонных дерев —
вы превращаетесь в социалиста,
от изобилия их одурев.

Звуки без смысла. Да это о них же
предупреждал еще, помнится, Ницше:
«Ах, господа, гармоническим шумом
вас обезволят Шуберт и Шуман,
сладкая песня без слов, господа,
вас за собой поведет, но куда?»

В парке под музыку в толпах гуляк
мерно и верно мерцает гулаг,
чешутся руки схватиться за тачку,
в сердце все громче лопаты долбеж.
Что ж ты, душа, за простую подачку
меди гудящей меня продаешь?

2. В амстердамской галерее

К. Верхейлу

На руках у дамы умер веер.
У кавалера умолкла лютня.
Тут и подкрался к ним Вермеер,
тихая сапа, старая плутня.
Свет — но как будто не из окошка.
Европа на карте перемешалась.
Семнадцатый век — но вот эта кошка
утром в отеле моем ошивалась.

Как удлинился мой мир, Вермеер,
я в Оостенде жраал уустриц,
видел прелестниц твоих, вернее,
чтения писем твоих искусниц.
Что там в письме, не *memento* ли *mori?*
Все там будем. Но серым светом
с карты Европы бормочет море:
будем не все там, будем не все там.

В зале твоем я застрял, Вермеер,
как бы баркас, проходящий шлюзы.
Мастер спокойный, упрятавший время
в имя свое, словно в складки блузы.
Утро. Обратный билет уже куплен.
Поезд не скоро, в 16.40.
Хлеб надломлен. Бокал пригублен.
Нож протиснут меж нежных створок.

3. В Английском канале

Т. и Д. Чемберс

Опухшее солнце Ла-Манша,
как будто я лишку хватил,
уставилось, как атаманша,
гроза коммунальных квартир.

Ну, что ты цепляешься к Лёше —
я пролил, так я и подтер.
Вон — ванночки, боты, калоши
захламили твой коридор.

Да, правда, нас сильно качает:
то к бару прильни, то отпрянь.
Я слышу начальника чаек
приказы, капризы и брань.

И я узнаю в ледоколе,
бредущем в Клайпеду, домой,
родные черты дяди Коли
с отвислой российской кормой.

Уже начинает смеркаться,
начальник своих разогнал,
а он начинает сморкаться —
о, трубный тоскливый сигнал!

Качается нос его красный,
а сзади, довольный собой,
висит полинялый и грязный
платочек его носовой.

4. У женевского часовщика

С. Маркишу

В Женеве важной, нет, в Женеве нежной,
в Швейцарии вальяжной и смешной,
в Швейцарии со всей Европой смежной,
в Женеве вежливой, в Швейцарии с мошной,
набитой золотом, коровами, горами,
пластами сыра с каплями росы,
агентами разведок, шулерами,
я вдруг решил: «Куплю себе часы».

Толпа бурлила. Шла перевербовка
сотрудников КЦГРБУ.
Но все разведки я видал в гробу.
Мне бы узнать, какие здесь штамповка,
какие на рубиновых камнях,
водоупорные и в кожаных ремнях.

Вдруг слышу из-под щеточки усов
печальный голос местного еврея:
«Ах, сударь, все, что нужно от часов,
чтоб тикали и говорили время».

«Чтоб тикали и говорили время...
Послушайте, вы это о стихах?»
«Нет, о часах, наручных и карманных...»
«Нет, это о стихах и о романах,
о лирике и прочих пустяках».

5. В нормандской дыре

В. Марамзину

Не в первый раз волны пускались в пляс,
видно, они нанялись бушевать поденно,
и по сей день вижу я смуглый пляж,
плешь в кудельках, седых кудельках Посейдона.

Сей старичок отроду не был трезв,
рот разевает, и видим мы род трезубца,
гонит волну на Довиль, на Дюнкерк, на Брест,
зыбкие руки, руки его трясутся.

Это я помню с детства, с войны: да в рот
этих союзничков, русскою кровью, мать их.
Вот он, полегший на пляжах второй фронт,
о котором мечтали на госпитальных кроватях.

Под пулеметы их храбро привел прилив.
Хитрый туман прикрывал корабли десанта.
Об этом расскажет тот, кто остался жив.
Кто не остался, молчит — вот что досадно.

Их имена, Господи, Ты веси,
сколько песчинок, нам ли их счесть, с размаху
мокрой рукой шлепнет прибой на весы.
В белом кафе ударник рванет рубаху.

В белом кафе на пляже идет гудьба.
Мальчик громит марсиан в упоении грозном.
Вилкой по водке писано: ЖИЗНЬ И СУДЬБА —
пишет в углу подвыпивший мелкий Гроссман.

Третью неделю пьет отпускник, пьет,
видно, он вьет, завивает веревочкой горе.
Бьет барабан. Бьет барабан. Бьет.
Море и смерть. Море и смерть. Море.

6. С собой на память

В. Казаку

Что я вспомню из этих дней и трудов —
с колоколен Кельна воскресную тишь,
некоторое количество немецких городов,
высокое качество остроконечных крыш,
одиночество, одиночество, одиночество, один
день за другим одиноким днем,
наблюдение за почтальоном из-за гардин,
почтовый ящик с рекламкой в нем,
превращение Америки в слово «домой»,
воркотню Би-Би-Си с новостями дня,
отсутствие океана между мной
и местом, где нет меня.

Март-август 1984

ТРИНАДЦАТЬ РУССКИХ

Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! — как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, — и вот ты уже в роще,
в жуткой чащобе *ц, ч, ш, щ*.

Встретишь в берлоге единоверца,
не разберешь — человек или зверь.
«Е-ё-ю-я», — изъясняется сердце,
а вырывается: *«ъ, ы, ъ»*.

Видно, монахи не так разрезали
азбуку: за буквами тянется тень.
И отражается в озере-езере,
осенью-есенью,
олень-елень.

БАХТИН В САРАНСКЕ

Капуцинов трескучие четки.
Сарацинов тягучие танцы.
Грубый гогот гог и магог.

«М. Бахтин, — говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки, —
не ахти какой педагог».

Хотя не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике сером
не студентик зундит, дьяволок:

«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego —
с этим городом твой диалог».

Мировая столица трахомы.
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.

Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят.

Здесь от храма распятого Бога
только щебня осталось немного.
В заалтарьи бурьян и пырей.

Старый ктитор в тоске и запое
возникает, как клитор, в пробое
никуда не ведущих дверей.

Вдоволь здесь погноили картошки,
книг порвали, икон попалили,
походили сюда за нуждой.

Тем вернее из гнили и пыли,
угольков и протлевшей ветошки
образуется здесь перегной.

Свято место не может быть пусто.
Распадаясь, уста златоуста
обращаются в чистый компост.

И протлевшие мертвые зерна
возрождаются там чудотворно,
и росток отправляется в рост.

Непонятный восторг переполнил
Бахтина, и профессор припомнил,
как в дурашливом давешнем сне

Голосовкер стоял с коромыслом.
И внезапно повеяло смыслом
в суете, мельтешеньи, возне.

Все сошлось — этот город мордовский.
Глупый пенис, торчащий морковкой.
И звезда. И вселенная вся.

И от глаз разбегались морщины.
А у двери толкались мордвины,
пересдачи зачета прося.

ИСТОЛКОВАНИЕ ЦЕЛКОВА

Ворс веревки и воск свечи.
Над лицом воздвижение зада.
Остальное — поди различи
среди пламени, мрака и чада.

Лишь зловеще еще отличим
в черной памяти-пламени красок
у Целкова период личин,
«лярв» латинских, по-нашему «масок».

Замещая ландшафт и цветы,
эти маски в прорехах и дырах
как щиты суеты и тщеты
повисали в советских квартирах.

Там безглазо глядели они,
словно некие антииконы,
как летели постылые дни,
пился спирт, попирались законы.

Но у кисти и карандаша
есть движение к циклу от цикла.
В виде бабочки желтой душа
на холстах у Целкова возникла.

Из личинок таких, что — хана,
из таких, что не дай Бог приснится,
посмотри, пролезает она
сквозь безглазого глаза глазницу.

Здесь присела она на гвозде,
здесь трассирует молниевидно.
На свече, на веревке, везде.
Даже там, где ее и не видно.

СТАНСЫ

Расположение планет
и мрачный вид кофейной гущи
нам говорят, что Бога нет
и ангелы не всемогущи.

И все другие письмена,
приметы, признаки и знаки
не проясняют ни хрена,
а только топят все во мраке.

Все мысли в голове моей
подпрыгивают и бессвязны,
и все стихи моих друзей
безóбразны и безобрáзны.

Когда по городу сную,
по делу или так гуляю,
повсюду только гласный У
привычным ухом уловляю.

Натруженный, как грузовик,
скулящий, как больная сука,
лишен грамматики язык,
где звук не отличим от звука.

Дурак, орущий за версту,
болтун, уведший вас в сторонку,
все произносят пустоту,
слова сливаются в воронку,

забулькало, совсем ушло,
уже слилось к сплошному вою.
Но шелестит еще крыло,
летящее над головою.

ВПЛОТЬ ДО АДА

Клирос, иконостас, пылесос
красный, т. наз. «Страшный суд».
Еще, так сказать, большой вопрос,
кого в утробу эту всосут.
. . . .

Тем, кто только сумел провиниться,
т. е. пропитаться насквозь винцом,
тем Ведмедь, Гибернатор Полярной Провинции,
расскажет сказку с плохим концом.
Тем, кто грехом своим сам терзается,
как то вожделенец, болтун, педераст,
тем в наказанье письмо затеряется,
приезжий привета не передаст.
Журналистам, редакторам (до зав. отдела)
и тем, кто халтурил путем иным,
сто лет в наказанье за это дело
учить наизусть Вознесенского, им
фальшиво Шопена слабают лабухи.

Но тянет смолой и серой всерьез
от вечных котлов для тех, кто в Елабуге
деньжат не подбросил, еды не принес.

ФЕДРА

В каком-то музейном зале, помню —
занавеску отдернуть и снова завесить —
«Федра, охваченная любовью».

Федра, охваченная любовью;
вокруг народу человек десять:
пара кормилиц, пара поэтов,
полдюжины шарлатанов различной масти,
специалистов по даванию советов
по преодолению преступной страсти.

Ах, художник, скажи на милость,
зачем их столько сюда набилось?
В твоей гравюрке, художник, тесно,
здесь пахнет потом, а не искусством.

А просто всем поглядеть интересно
на Федру, охваченную столь странным чувством.

СЛЕГКА ЗАПЛЕТАЯСЬ

Льется дождь как из ведра.
Бог, рожденный из бедра,
победил меня сегодня
прямо с самого утра.

Не послать ли нам гонца?
Не заклать ли нам тельца?
То есть часть тельца (заклаем?) —
нам всего не съесть тельца.

Раздается странный стук.
Это я кладу в сундук —
то есть я кладу в кастрюлю
кость телячью, плоть и тук*.

Мой телец кипит, кипит.
Хочется с копыт, с копыт.
Но у нас еще графинчик
абсолютно не допит.

Эй, подать его сюды!
В нем награда за труды:
на две пятых — бог забвенья,
на три пятых — бог воды**.

---

* Вырываю два листочка из лаврового венца.

** Смысл стихотворения: в дождливый день автор пьет водку и варит телятину.

P. S. «Бог, рожденный из бедра» — Бахус.

P. P. S. Последние две строки — перифрастического описание сорокоградусной водки.

ТКАНЬ
(докторская диссертация)

1. *Текст* значит *ткань*[1]. Расплести по нитке тряпицу текста.
Разложить по цветам, улавливая оттенки.
Затем объяснить, какой окрашена краской
каждая нитка. Затем — обсуждение ткачества ткани:
устройство веретена, ловкость старухиных пальцев.
Затем — дойти до овец. До погоды в день стрижки.
(Sic) Имя жены пастуха. (NB) Цвет ее глаз.

2. Но не берись расплетать, если сам ты ткач неискусный,
если ты скверный портной. Пестрядь перепутанных ниток,
корпия библиотек, ветошка университетов[2] —
кому, Любомудр, это нужно? Прежнюю пряжу сотки.
Прежний плащ возврати той, что продрогла в углу.

2.1 Есть коллеги, что в наших (см. выше) делах неискусны.
Все, что умеют, — кричать: «Ах, вот нарядное платье!
Английское сукнецо! Модный русский покрой!»[3]

2.2 Есть и другие. Они на платье даже не взглянут.
Все, что умеют, — считать миллиметры, чертить пунктиры.
Выкроек вороха для них дороже, чем ткань[4].

2.3 Есть и другие. Они на государственной службе.
Все, что умеют, — сличать данный наряд с униформой.
Лишний фестончик найдут или карман потайной,
тут уж портняжка держись — выговор, карцер, расстрел.

3. *Текст* — это *жизнь*. И ткачи его ткут. Но вбегает кондратий[5] —
и недоткал. Или ткань подверглась воздействию солнца,

снега, ветра, дождя, радиации, злобы, химчистки,
времени, т. е. «дни расплетают тряпочку по-
даренную Тобою»[6], и остается дыра.

3.1 Как, Любомудр, прохудилась пелена тонкотканой культуры.
Лезет из каждой дыры паховитый хаос и срам[7].

4. *Ткань* это *текст* это *жизнь*. Если ты доктор — дотки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. латинский словарь. Ср. имя бабушки Гете.

[2] Ср. то, что Набоков назвал «летейская библиотека».

[3] Этих зову «дурачки» (см. протопоп Аввакум).

[4] Ср. ср. ср. ср. ср. ср.

[5] (...) Иванович (1937–?).

[6] Бродский. Также ср. Пушкин о «рубище» и «певце», что, вероятно, восходит к Горацию: *purpureus pannus*.

[7] См. см. см. см. см. см. см.!

ОТКРЫТКА ИЗ НОВОЙ АНГЛИИ. 1

Иосифу

Студенты, мыча и бодаясь, спускаются к водопою,
отплясал пять часов бубенчик на шее библиотеки,
напевая, как видишь, мотивчик, сочиненный тобою,
я спускаюсь к своей телеге.

Распускаю ворот, ремень, английские мысли,
разбредаются мои инвалиды недружным скопом.
Водобоязненный бедный Евгений (опять не умылся!)
припадает на ударную ногу, страдая четырехстопьем.

Родион во дворе у старухи-профессорши колет дровишки
(нынче время такое, что все переходят опять на печное),
и порядком оржавевший мой Холстомер, норовивший
перейти на галоп, оторжал и отправлен в ночное.

Вижу, старый да малый, пастухи костерок разжигают,
существительный хворост с одного возжигают глагола,
и томит мое сердце и взгляд разжижает,
оползая с холмов, горбуновая тень Горчакова.

Таково мы живем, таково наши дни коротая,
итальянские дядьки, Карл Иванычи, Пнины, калеки.
Таковы наши дни и труды. Таковы караваи
мы печем. То ли дело коллеги.

Вдоль реки Гераклит Ph. D. выдает брандылясы,
и трусца выдает, и трусца выдает бедолагу,
как он трусит, сердечный, как охота ему адидасы,
обогнавши поток, еще раз окунуть в ту же влагу.

А у нас накопилось довольно в крови стеарина —
понаделать свечей на февральскую ночку бы сталось.
От хорея зверея, бедной юности нашей Арина
с той же кружкой сивушною, Родионовна, бедная старость.

Я воздвиг монумент как насест этой дряхлой голубке.
— Что, осталось вина?
И она отвечает: — Вестимо-с.
До свиданья, Иосиф. Если вырвешься из мясорубки,
будешь в наших краях, обязательно навести нас.

Л.

P. S.
Генеральша Дроздова здорова. Даже спала опухоль с ног
(а то, помнишь, были как бревна).
И в восторге Варвара Петровна —
из Швейцарий вернулся сынок.

Л.

Из музыкальной школы звук гобоя дрожал, и лес в ответ дрожал нагой. Я наступил на что-то голубое. Я ощутил бумагу под ногой. Откуда здесь родимой школы ветошь, далекая, как детство и Москва? Цена 12 коп., и марка «Светоч», таблица умножения, 2 х 2...

ВЫПИСКИ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Кн. Шаховской-Харя

вечно в опале у государя.
Полжизни — то в Устюге, то в Тобольске.
Видимо, знал по-польски.
Единственный друг — дьяк
Васильев Третьяк.

Полоцкий Симеон

Сочинял Рифмологион.
Лучшие рифмы:
похотети — имети
молися — слезися
творити — быти

Евстратий

сочинял в виде рыбки.
Делал ошибки.

Козанский 2-й

При императоре-преобразователе Петре
ввел в России употребление тире (—)
и яблочного пюре.
Умер, тоскуя о вырванной ноздре.

Кантемир (Молдавия)

Латынь! утратив гордые черты,
пристойный вид и строгую осанку,
в неряшливую обратясь славянку,
полуцыганкой — вот чем стала ты.
Не лебедь дивная, а глупая гусыня,
аморе петь забыв, бормочешь *пыня*.

Откидывает с винной кружки крышку,
макает пальцами в баранье сало хлеб,
лелеет долгожданную отрыжку,
бабенку загоняет в скотий хлев.
И пробирает скользкий ходунок
нечесаную хамку между ног.

Андрей Белобоцкий

Ах, червячки. Ах, бабочки в траве.
Кудрявые утесы. Водоносы...
Все те, кто знали грамоте в Москве,
писали только вирши да доносы.

Его же столь лелеемый диплом,
полученный в стенах Вальядолида,
для них был точно горькая обида —
ну как тут не прослыть еретиком.

Но тут они хватили через край.
Он получает повышенье в чине.
Но тут подводит знание латыни,
и он командируется в Китай

в состав посольства (видимо, Москва
беседует с Пекином на вульгате)...
Запас вина иссяк до Рождества,
но пристрастился к опиуму кстати.

Китайский Рим. Патриции в шелку
в поляке презирают московита.
Посол лютует. Интригует свита.
И надо быть все время начеку.

О Матерь Божия, куда я занесен.
Невольно появляются сомненья
в реальности. «La vida es sueño.»
«Жизнь это сон». Как дальше? «Это сон...»

От диарреи бел, как молоко,
средь желтых уток белая ворона,
пан Анджей тщится вспомнить Кальдерона.
Испанский забывается легко.

Кантемир (Петербург)

Не натопить холодного дворца.
Имея харю назамен лица,
дурак-лакей шагает, точно цапля,
жемчужна на носу повисла капля.
В покоях вонь: то кухня, то сортир.
Ах, *невозможно не писать сатир*.

Петров

На пегоньком Пегасике верхом
как сладко иамбическим стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.

О, Государыня, кротка твоя улыбка,
полнощные полмира озарив,
волшебное, подобное как рыбка,
зашито в твой атласный лиф.

Но Государыня изволила из драть.
Ну что ж, поэт, последний рубь истрать.
Рви волосы на пыльном парике
среди профессоров в дешевом кабаке.

Одописание — опасная привычка,
для русского певца нормальный ход.
Живое и подобное как птичка
за пазухой шинельных од.

Батюшков
(Der russische Walzer)

Ты мне скажешь — на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают?

На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?

Бормотал, что мол что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз между прочим дубил,
промораживал стены из бревен.

Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.

С мутной каплей на красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.

Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.

Пушкин

Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги — слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слезы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.
Подведи их под благословенье.
Что еще? Одно стихотворенье.
Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печатню нумер.
Письмецо, что не успел прочесть.
В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки, всего важнее честь.

Ну, вот и все. Я вспоминаю вчуже пустой осенний выморочный день, на берегу большой спокойной лужи, где желтая качалась дребедень, тетрадку, голубевшую уныло, с названьем недвусмысленным — «Тетрадь». Быть может, поднимать не нужно было, а, может быть, не стоило терять.

* * *

И жизнь положивши за други своя,
наш князь воротился на круги своя,
и се продолжает, как бе и досель,
крутиться его карусель.

Он мученическу кончину приях.
Дружинники скачут на синих конях.
И красные жены хохочут в санях.
И дети на желтых слонах.

Стреляют стрельцы. Их пищали пищат.
И скрипки скрипят. И трещотки трещат.
Князь длинные крылья скрещает оплечь.
Внемлите же княжеску речь.

Аз бех на земли и на небе я бе,
где ангел трубу прижимает к губе,
и все о твоей там известно судьбе,
что неинтересно тебе.

И понял аз грешный, что право живет
лишь тот, кто за другы положит живот,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
чего же нам брюхо стеречь.

А жизнь это, братие, узкая зга,
и се ты глядишь на улыбку врага,
меж тем как уж кровью червонишь снега,
в снега оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это — зга.
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль.

ЧЕЛОБИТНАЯ

О том, Государь, я смиренно прошу:
вели затопить мне по-белому баню,
с березовым веником Веню и Ваню
пошли — да оттерли бы эту паршу.
Иль собственной дланью своей, Государь,
сверши возлиянье на бел-горюч камень,
чужую мерзячку* от сердца отпарь,
да буду прощен, умилен и раскаян.

Меня полотенцем суровым утри.
Я выйду. Стоит на крылечке невеста
Любовь, из несдобного русского теста,
красавица с красным вареньем внутри.
Все гости пьяны офицерским вином,
над елками плавает месяц медовый.
Восток розовеет. Под нашим окном
свистит соловей, подполковник бедовый.

Коня ординарец ведет в поводу.
Вот еду я, люден, оружен и конен.
Всемилостив Бог. Государь благосклонен.
Удача написана мне на роду.

---

* *Мерзячка* (иностранное влияние) и *люден, оружен и конен* — из цитат, приводимых Ключевским.

СТИХИ О РОМАНЕ

I

Знаем эти толстовские штучки:
с бородою, окованной льдом,
из недельной московской отлучки
воротиться в нетопленный дом.
«Затопите камин в кабинете.
Вороному задайте пшена.
Принесите мне рюмку вина.
Разбудите меня на рассвете».
Погляжу на морозный туман
и засяду за длинный роман.

Будет холодно в этом романе,
будут главы кончаться «как вдруг»,
будет кто-то сидеть на диване
и посасывать длинный чубук,
будут ели стоять угловаты,
как стоят мужики на дворе,
и, как мост, небольшое тире
свяжет две недалекие даты
в эпилоге (когда старики
на кладбище придут у реки).

Достоевский еще молоденек,
только в нем что-то есть, что-то есть.
«Мало денег, — кричит, — мало денег.
Выиграть тысяч бы пять или шесть.
Мы заплатим долги, и в итоге
будет водка, цыгане, икра.

Ах, какая начнется игра!
После старец нам бухнется в ноги
и прочтет в наших робких сердцах
слово СТРАХ, слово КРАХ, слово ПРАХ.

Грусть-тоска. Пой, Агаша. Пей, Саша.
Хорошо, что под сердцем сосет...»
Только нас описанье пейзажа
от такого запоя спасет.
«Красный шар догорал за лесами,
и крепчал, безусловно, мороз,
но овес на окошке пророс...»
Ничего, мы и сами с усами.
Нас не схимник спасет, нелюдим,
лучше в зеркало мы поглядим.

II

Я неизменный Карл Иваныч.
Я ваших чад целую на ночь.
Их географии учу.
Порой одышлив и неряшлив,
я вас бужу, в ночи закашляв,
молясь и дуя на свечу.

Конечно, не большая птица,
но я имею, чем гордиться:
я не блудил, не лгал, не крал,
не убивал — помилуй Боже, —
я не убийца, нет, но все же,
ах, что же ты краснеешь, Карл?

Был в нашем крае некто Шиллер,
он талер у меня зажилил.
Была дуэль. Тюрьма. Побег.
Забыв о Шиллере проклятом,
verfluchtes Fatum — стал солдатом —
сражений дым и гром побед.

Там пели, там «ура» вопили,
под липами там пиво пили,
там клали в пряники имбирь.
А здесь, как печень от цирроза,
разбухли бревна от мороза,
на окнах вечная Сибирь.

Гуляет ветер по подклетям.
На именины вашим детям
я клею домик (ни кола
ты не имеешь, старый комик,
и сам не прочь бы в этот домик).
Прошу, взгляните, Nicolas.

Мы внутрь картона вставим свечку
и осторожно чиркнем спичку,
и окон нежная слюда
засветится тепло и смутно,
уютно станет и гемютно,
и это важно, господа!

О, я привью германский гений
к стволам российских сих растений.
Фольга сияет наобум.
Как это славно и толково,
кажись, и младший понял, Лева,
хоть увалень и тугодум.

ПБГ*

Далеко, в Стране Негодяев
и неясных, но страстных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон и Булгаков.
    Бородою в античных сплетнях,
    верещал о вещах последних

Вячеслав. Голосок доносился
до мохнатых ушей Гершензона:
«Маловато дионисийства,
буйства, эроса, пляски, озона.
    Пыль Палермо в нашем закате».
    (Пьяный Блок отдыхал на Кате,

и, достав медальон украдкой,
воздыхал Кузмин, привереда,
над беспомощной русой прядкой
с мускулистой груди правоведа,
    а Бурлюк гулял по столице,
    как утюг, и с брюквой в петлице.)

Да, в закате над градом Петровым
рыжеватая примесь Мессины,
и под этим багровым покровом
собираются красные силы,
    и во всем недостача, нехватка:
    с мостовых исчезает брусчатка,
    чаю спросишь в трактире — несладко,

* Петербург, т. е., зашифрованный герой «*П*оэмы *Б*ез *Г*ероя» Ахматовой.

    в «Речи» что ни строка — опечатка,
    и вина не купить без осадка,
    и трамвай не ходит, двадцатка,

и трава выползает из трещин
силлурийского тротуара.
Но еще это сонмище женщин
и мужчин пило, флиртовало,
    а за столиком, рядом с эсером,
    Мандельштам волхвовал над эклером.

А эсер глядел деловито,
как босая танцорка скакала,
и витал запашок динамита
над прелестной чашкой какао.

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

День, вечер, одеванье, раздеванье —
всё на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
Под кустиком в виду мышиной норки?
à la gitane?
В коляске, натянув на окна шторки?
но как же там?
Как многолюден этот край пустынный!
Укрылся — глядь,
в саду мужик гуляет с хворостиной,
на речке бабы заняты холстиной,
голубка дряхлая с утра торчит в гостиной,
не дремлет, блядь.
О где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где — юбку прочь?
Где не спугнет размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожах слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
мгновенье лишь?

* * *

Грамматика есть бог ума.
Решает все за нас сама:
что проорем, а что прошепчем.
И времена пошли писать,
и будущее лезет вспять
и долго возится в прошедшем.

Глаголов русских толкотня
вконец заторкала меня,
и, рот внезапно открывая,
я знаю: не сдержать узду,
и сам не без сомненья жду,
куда-то вывезет кривая.

На перегное душ и книг
сам по себе живет язык,
и он переживет столетья.
В нем нашего — всего лишь вздох,
какой-то ах, какой-то ох,
два-три случайных междометья.

КЛАССИЧЕСКОЕ

В доме отдыха им. Фавна,
недалече от входа в Аид,
даже время не движется плавно,
а спокойно на месте стоит.

Зимний полдень. Начищен паркет.
Мягкий свет. Отдыхающих нет.

Полыхает в камине полено,
и тихонько туда и сюда
колыхаются два гобелена.
И на левом — картина труда:

жнут жнецы и ваятель ваяет,
жрут жрецы, Танька ваньку валяет.

А на правом, другом, гобелене
что-то выткано наоборот:
там, на фоне покоя и лени,
я на камне сижу у ворот,

без штанов, только в длинной рубашке,
и к ногам моим жмутся барашки.

«Разберемся в проклятых вопросах,
возбуждают они интерес», —
говорит, опираясь на посох,
мне нетрезвый философ Фалес.

И, с Фалесом на равной ноге,
я ему отвечаю: «Эге».

Это слово — стежок в разговоре,
так иголку втыкают в шитье.
Вот откуда Эгейское море
получило названье свое.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

Ах, в старом фильме (в старой фильме)
в окопе бреется солдат,
вокруг другие простофили
свое беззвучное галдят,
ногами шустро ковыляют,
руками быстро ковыряют
и храбро в объектив глядят.

Там, на неведомых дорожках,
след гаубичных батарей,
мечтающий о курьих ножках
на дрожках беженец-еврей,
там день идет таким манером
под флагом черно-бело-серым,
что с каждой серией — серей.

Там русский царь в вагоне чахнет,
играет в секу и в буру.
Там лишь порой беззвучно ахнет
шестидюймовка на юру.
Там за Ольштынской котловиной
Самсонов с деловитой миной
расстегивает кобуру.

В том мире сереньком и тихом
лежит Иван — шинель, ружье.
За ним Франсуа, страдая тиком,
в беззвучном катится пежо.
....
Еще раздастся рев ужасный,
еще мы кровь увидим красной,
еще насмотримся ужо.

НАРОДОВЛАСТИЕ ЕСТЬ СОГЛАСОВАНИЕ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ КОРЫСТЕЙ

Скоро бумага выходит.
Почата новая десть.
И ладьеводец выводит:
«Народовластие есть...»
В горнице пыль колобродит.
Солнечный луч не находит,
где бы приткнуться, присесть.

Всюду записки, тетради.
Чай недопитый вчера.
И коготком Бога ради
скрип неотрывный пера.
И за окном в палисаде
ветер. И пусто в ограде
града Святого Петра.

Русское древо осина
златом горит на заре.
И парусов парусина
сохнет в соседнем дворе.
Что же так псино, крысино
ноет? И что за трясина
тряская в самом нутре?

То ли балтийский баронец
лепит кривые слова.
То ли картавый народец
тщится сказать «татарва».
Солнце глядится в колодец
полный чернил. Ладьеводец
крупно выводит: «...сова...»

Вид у романов сафьянов.
Вид у обоев шелков.
А у оплывших диванов
вид кучевых облаков
над немотой океанов.
И ложноимя «Иванов»
он подписует, толков.

ИНСТРУКЦИЯ РИСОВАЛЬЩИКУ ГЕРБОВ

1-ый вариант

На фоне щита
иль таза, иль мелкого блюда,
изображение небольшого верблюда,
застрявшего крепко в игольном ушке,
при этом глядящего на кота, сидящего в черном мешке,
завязанном лентой цвета нимфы, купающейся в пруду,
по коей ленте красивым курсивом надпись:
SCRIPTA MANENT
(лат. «Не легко, но пройду»)

2-ой вариант

На постаменте в виде опрокинутой стопки
две большие скобки,
к коим стоят как бы привалившись:
справа — лось сохатый,
слева — лев пархатый;
в скобках вставший на дыбы Лифшиц;
изо рта извивается эзопов язык,
из горла вырывается зык,
хвост прищемлен, на голове лежит корона в виде кепки,
фон: лесорубы рубят лес — в Лифшица летят щепки,
в лапах и копытах путается гвардейская лента
с надписью:
ЗВЕРЕЙ НЕ КОРМИТЬ

3-ий вариант (поскромнее)

Земной шар
в венце из хлебных колосьев,
перевитых лентой;
на поясках
красивым курсивом надпись:
ЛЕВ ЛОСЕВ
на 15-ти языках.

* * *

Мы наблюдаем при солнца восходе
круговорот алкоголя в природе.
Полно сидеть пучеглазой совой
здесь, на плече у Паллады Афины —
где-то баллады звенят и графины,
что бы такое нам сделать с собой?

То ли тряхнуть словарем, как мошною,
то ли отделаться рифмой смешною,
то ли веревочкой горе завить?
Юмор, гармония, воображенье,
выходки водки и пива броженье,
жажда и жар, и желанье запить —

как это в сущности все изоморфно!
Пташка пропела свое и замолкла.
Пташечка! Ты не одна ли из тех
неисчислимых вчерашних рюмашек,
как эта скатерть июньских ромашек
в пятнах коньячных вчерашних утех.

Знаю, когда отключимся с похмелья,
нас, забулдыг, запихнут в подземелье,
так утрамбуют, что будь здоров.
Там уж рассыплемся, там протрезвеем.
Только созреем опять и прозреем
для бесконечных грядущих пиров.

* * *

1

Земную жизнь пройдя до середины,
я был доставлен в длинный коридор.
В нелепом платье бледные мужчины

вели какой-то смутный разговор.
Стучали кости. Испускались газы,
и в воздухе подвешенный топор

угрюмо обрубал слова и фразы:
все ху да ху, да е мае, да бля —
печальны были грешников рассказы.

Один заметил, что за три рубля
сегодня ночью он кому-то вдует,
но некто, грудь мохнатую скобля,

ему сказал, что не рекомендует,
а третий, с искривленной головой,
воскликнул, чтоб окно закрыли — дует.

В ответ ему раздался гнусный вой,
развратный, негодующий, унылый,
но в грязных робах тут вошел конвой,

и я был унесен нечистой силой.
Наморща лобик, я лежал в углу.
Несло мочой, карболкой и могилой.

В меня втыкали толстую иглу,
меня поили горечью полынной.
К холодному железному столу

потом меня доской прижали длинной,
и было мне дышать запрещено
во мраке этой комнаты пустынной.

И хриплый голос произнес: «Кино».
В ответ визгливый: «Любоваться нечем».
А тот: «Возьми и сердце заодно».

А та: «Сейчас, сперва закончу печень».
И мой фосфоресцировал скелет,
обломан, обезличен, обесцвечен,

корявый остов тридцати трех лет.

2

От этого, должно быть, меж ресниц
такая образовывалась линза,
что девушка дрожала в ней, и шприц,

как червячок, и рос и шевелился.
Вытягивалась кверху, как свеча,
и вниз катилась, горяча, больница.

(То, что коснулось левого плеча,
напоминало птицу или ветку,
толчок звезды, зачатие луча,

укол крыла, проклюнувшего клетку,
пославший самописку ЭКГ
и вкривь и вкось перекарябать сетку

миллиметровки.) Голос: «Эк его».
Другой в ответ: «Взгляни на пот ладоней».
Они звучали плохо, роково,

но, вместе с тем, все глуше, отдаленней,
уже и вовсе слышные едва,
не разберешь, чего они долдонят.

Я возлетал. Кружилась голова.
Мелькали облака, неуследимы.
И я впервые обретал слова,

земную жизнь пройдя до середины.

3

Ты что же так забрался высоко,
Отец? Сияет имя на табличке:
«...в чьем ведении Земля, Вода и Ко...»

И что еще? Не разберу без спички.
День изо дня. Да, да. День изо дня
Ты крошишь нам, а мы клюем, как птички.

Я знаю, что не стребуешь с меня
Долгов (как я не вспомню ведь про трешку,
Что занял друг), не бросишь, отгоня

Пустого гостя. Просит на дорожку
Хоть посошок... Вот черт! Куда ни кинь...
За эту бесконечную матрешку,

Где в Царстве Сила, в Силе Слава...

УРОК ФОТОГРАФИИ

МОСКВИЧИ

1

Дворовая свора бежала куда-то.
Визжала девчонка одна.
«Я их де-фло-ри-ру-ю пиццикато», —
промолвил старик у окна.

Он врал и осекся, трепач этот древний,
московской орды старожил.
Он в комнату выплывшей Анне Андреевне
услужливо стул предложил.

Он к ней обращался с почтительным креном,
он чайничек ей подержал.
Его, побывавший в корзиночке с кремом,
мизинец при этом дрожал.

Он маялся, мальчик шестидесятилетний,
но все же отважился на
рассказ, начиненный последнею сплетней,
и слух не замкнула она.

Он даже заставил ее улыбнуться,
он все-таки ей угодил,
москвич, отдуватель чаинок на блюдце,
писатель стишков в «Крокодил».

2

Поникла, чай, моя камелия,
а ежели еще жива,
знать, из метели и похмелья
сидит и вяжет кружева.

Окно черно в вечерних шторах,
там, в аввакумовых просторах
морозный вакуум и тьма
ей выдается задарма.

Итак, она не растеряла
ни мастерства, ни материала,
в привычных пальцах вьется нить,
ловка пустоты обводить.

Сидит, порою дурь глотает,
и пустоты кругом хватает,
да уменьшается клубок.
И мрак за окнами глубок.

3

Любви, надежды, черта в стуле
недолго тешил нас уют.
Какие книги издаются в Туле!
В Америке таких не издают.

Чу! проскакало крошечное что-то
в той стороне, где теплится душа.
Какая тонкая работа!
Шедевр косого алкаша.

Ах! В сердце самое куснула.
И старый черт таращится со стула,
себе слезы не извиня:
что это — проскочило, промелькнуло,
булатными подковками звеня?

АМФИБРОНХИТНАЯ НОЧЬ

1. Газета на ночь

Андроповская старуха
лобзнула казенный гранит,
и вот уже новая муха
кремлевскую стену чернит.
Деды — да которым бы в баньке
попарить остаток костей,
которым бы внучке бы, Таньке,
подсовывать жменю сластей,
которым бы ночью в исподнем
на печке трещать с требухи,
которым бы в храме Господнем
замаливать горько грехи,
чего-то бормочут, натужась,
то лапку о лапку помнут,
то ножками выдадут ужас
считаемых ими минут.
Тоска в этих бывших мужчинах,
пугливых, гугнивых дедах,
в их мелких повадках мушиных,
в их черных мушиных следах.
Прости им, Господь, многоточья,
помилуй трухлявый их ряд.
Уж эти не ведают точно.
Да, собственно, и не творят.

2. Старый сон

Знать, не у природы на лоне,
знать, в химкомбинатском бору
добыты те шкурки нейлоньи.
Напяливши эту муру,
в трамвае толпа непреклонней
сжимает (похоже — умру).

Последних песцов поколенье
покоится на Соловках,
а этих окраска — гиенья,
вся в пятнышках и волосках.
И явственней запах гниенья —
до яростной боли в висках.

Трамвай шел какой-то там номер.
Ламца-дрицаца-дрицаца.
Не я ль на площадочке помер?
Тащите меня, мертвеца.
Лица так никто и не повер-
нул — нуль был на месте лица —

склоняют подобия пяток
над мелкой печатью страниц,
в портфелях котлетовый взяток
и робкий десяток яиц,
за окнами мокрый остаток
деления школ и больниц.

Расправить покорные власти
немытые трубочки шей?
Взглянуть хоть на новый фаланстер
в 14 этажей?
Но гаркнул водитель: «Вылазьте,
приехали...»

3. Ante lucem

Я что — в каждой бочке затычка?
мне тоже бывает невмочь.
Но вижу, проставлена v
в графе «пережить эту ночь».

А, может быть, сердце из клетки
грудной улетело в окно,
чирикает, сидя на ветке,
мол, холодно, страшно, темно.

Но вот уж светать начинает.
Вот солнце встает над стрехой
и утра пирог начиняет
своей золотой чепухой.

РАЗГОВОР

«Нас гонят от этапа до этапа,
А Польше в руки все само идет —
Валенса, Милош, Солидарность, Папа,
у нас же Солженицын, да и тот
Угрюм-Бурчеев и довольно средний
прозаик». «Нонсенс, просто он последний
романтик». «Да, но если вычесть „ром“».
«Ну, ладно, что мы, все-таки, берем?»
Из омута лубянок и бутырок
приятели в коммерческий уют
всплывают, в яркий мир больших бутылок.
«А пробовал ты шведский „Абсолют“,
его я называю „соловьевка“,
шарахнешь — и софия тут как тут».
«А, все же затрапезная столовка,
где под столом гуляет поллитровка...
нет, все-таки, как белая головка,
так западные водки не берут».
«Прекрасно! ностальгия по сивухе!
А по чему еще — по стукачам?
по старым шлюхам, разносящим слухи?
по слушанью „Свободы“ по ночам?
по жакту? по райкому? по погрому?
по стенгазете „За культурный быт“?»
«А, может, нам и правда выпить рому —
уж этот точно свалит нас с копыт».

ПИСЬМО НА РОДИНУ

Как ваши руки, Молли, погрубели,
как опустился ваш веселый Дик...
М. Кузмин. «Переселенцы»

Дали нары. Дали вилы. Навоз
ковырять нелегко,
но жратвы от пуза.
С тех пор, как выехали из Союза,
воды не пьем — одно молоко.
По субботам — от бешеной коровки
(возгонка, какая не снилась в Москве).
Доллареску откладываем в коробки
из-под яиц. У меня уже две.
Хозяева, ну, не страшнее овира,
конечно, дерьмо, но я их факу.
Франц — тюфяк, его Эльзевира —
мразь, размазанная по тюфяку.
Очень дешевы куры. Овощи
в ассортименте. Фрукты — всегда.
Конечно, некоторые, как кур в ощип,
попали сюда, с такими беда.
Выступал тут вчера один кулема,
один мой кореш, в виде стишков,
мол, «хорошо нам на родине, дома,
в сальных ватниках с толщей стежков».
Знаем — сирень, запашок мазута,
родимый уют бессменных рубах.
А все же свобода лучше уюта,
в работниках лучше, чем в рабах.
Мы тут не морячки в загране,

а навсегда. Вот еще бы скопить
коробку... Говорят, за горами
еще не всё успели скупить.
Нам бы только для первой оснастки,
а там пусть соток хоть семь, пусть шесть.
Есть за горами еще участки.
Свободные пустоши есть.

* * *

Тем и прекрасны эти сны,
что все же доставляют почту
куда нельзя, в подвал, в подпочву,
в глубь глубины,

где червячки живут, сочась,
где прячут головы редиски,
где вы заключены сейчас
без права переписки.

Все вы, которые мертвы,
мои друзья, мои родные,
мои враги (пока живые),
ну, что же вы

смеетесь, как в немом кино.
Ведь нет тебя, ведь ты же умер,
так в чем же дело, что за юмор,
что так смешно?

Однажды, завершая сон,
я сделаю глубокий выдох
и вдруг увижу слово *выход* —
так вот где он!

Сырую соль с губы слизав,
я к вам пойду тропинкой зыбкой
и уж тогда проснусь с улыбкой,
а не в слезах.

ПЛАСТИНКА

Не умея играть на щипковых
инструментах и ни на каких,
я купил за двенадцать целковых
хор кудрявых, чернявых, лихих,
все в рубашечках эх-да шелковых,
эх-да красных, да-эх голубых.

Старый цыган со всею конторой,
с одного разгоняясь витка,
спел нам песню свою, из которой
мы узнали, что жизнь коротка,
но зато — промелькнула за шторой
слишком белая чья-то рука.

Вместо «слишком» там пелось «и-эх-да»
и хрипелось за словом «зато»
непонятно что — «нечто» иль «некто»,
слишком низко уж было взято,
и ни вкуса, ни интеллекта
не отметил бы в песне никто.

. . . .

«Коротка, коротка...» Напрягая
слух и память, и то не вполне
разбирая слова... «Дорогая,
то, что мы увидали в окне...»
Впрочем, это уж песня другая
и она на другой стороне.

НА РОЖДЕСТВО

Я лягу, взгляд расфокусирую,
звезду в окошке раздвою
и вдруг увижу местность сирую,
сырую родину свою.

Во власти оптика-любителя
не только что раздвой и — сдвой,
а сдвой Сатурна и Юпитера
чреват Рождественской звездой.

Вослед за этой, быстро вытекшей
и высохшей, еще скорей
всходи над Волховом и Вытегрой,
звезда волхвов, звезда царей.

. . . .

Звезда взойдет над зданьем станции,
и радио в окне сельпо
программу по заявкам с танцами
прервет растерянно и, по-
медлив малость, как замолится
о пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,
о сброде пьяниц и нерях.
Слепцы, пророки трепотливые,
отцы, привыкшие к кресту,
как эти строки терпеливые,
бредут по белому листу.
Где розовою промокашкою

в полнеба запад возникал,
туда за их походкой тяжкою
Обводный тянется канал.
Закатом наскоро промокнуты,
слова идут к себе домой
и открывают двери в комнаты,
давно покинутые мной.

* * *

С. К.

И, наконец, остановка «Кладбище».
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему — он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.

Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю — ничего не берет.

* * *

Читая Милоша

Нам звуки ночные давно невдомек,
но вы замечали: всегда
в период упадка железных дорог
слышней по ночам поезда.
И вот он доносится издалека —
в подушку ль уйдешь от него.
Я книгу читал одного старика,
поляка читал одного.
Пустынный простор за окном повторял
описанный в книге простор,
и я незаметно себя потерял
в его рассужденьи простом.
И вот он зачем-то уводит меня
в пещеры Платоновой мрак,
где жирных животных при свете огня
рисует какой-то дурак.
И я до конца рассужденье прочел,
и выпустил книгу из рук,
и слышу — а поезд еще не прошел,
все так же доносится стук.
А мне-то казалось, полночи, никак
не меньше, провел я в пути,
но даже еще не успел товарняк
сквозь наш полустанок пройти.
Я слышу, как рельсы гудят за рекой,
и шпалы, и моста настил,
и кто-то прижал мое горло рукой
и снова его отпустил.

НАТЮРМОРТ С ФАМИЛИЯМИ

Ну, Петров, по фамилии Водкин,
а по имени просто Кузьма,
как так вышло? Выходит, я воткан
в этот холст. И наш холст, как зима
без конца. Ежедневное выткав,
не пора ль отдохнуть нам. Кончай.
Много мы испытали напитков,
все же, лучшие — водка и чай.
Посидим, постепенно совея
от тепла и взаимных похвал.
Я еще скатертей розовее,
стен синее не видывал.
В синем блюдечке пара лимонов,
желтоватость конверта. Кузьма,
что мне пишет мой друг Парамонов —
подожду, не открою письма,
погляжу на снежинок круженье
и на все, что назвать не берусь,
хоть на миг отложив погруженье
в океан, окружающий Русь.

ТРАМВАЙ

На Обводном канале,
где я детство отбыл,
мы жестянку гоняли —
называлось: футбол.
Этот звук жестяной
мне охоту отбил
к коллективной игре
под кирпичной стеной.

Блещут мутные перлы
треть столетья назад.
Извержения спермы
в протяженный мазут.
Как мешочки медуз,
по каналу ползут
эти лузы любви,
упустившие груз.

Нитяной пуповиной
в Обводный канал,
нефтяною лавиной —
на фабричный сигнал,
предрассветный гудок
подгонял, подгонял
каждый сон, каждый взгляд,
каждый чаю глоток.

Позабыт, позамучен
с молодых юных лет.
Вон в траве, замазучен,

мой трамвайный билет,
ни поднять, ни поддать
(сырость, кости болят).
Цифры: тройка, семерка.
Остальных не видать.

Этот стих меня тащит,
как набитый трамвай,
под дождем дребезжащий
над пожухлой травой;
надо мне выходить
было раньше строфой;
ничего, не беда,
посижу взаперти

со счастливым билетом
во взмокшей горсти.

МАРШ

За оркестра вздыхающей тубою
под белесой овчинкой небес,
притворившись афишною тумбою,
ветерком в подворотне, не без
холодка по спине,
наяву, как во сне,
пройти с опаской,
где пахнет краской
и стынет студень на окне.

Освещен маловаттною лампою
старый лев на столетнем посту,
под чугунной облупленной лапою
я записку найду и прочту:
«Иди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что,
и аккуратно
вернись обратно
лет через десять или сто».

И пошел, и сносил свою голову
и, вернувшись, задрал высоко:
мойка окон, мелькание голого,
синька неба и синька трико,
пена плещется вниз,
вышел кот на карниз,
ужасен голод,
но вот он, голубь...
Кис-кис-кис-кис, кис-кис, кис-кис!
(кис-кис, кис-кис!)

Возле старого здания желтого
в черной шляпе и в черном пальто
с полной кружкой чего-то тяжелого
недоверчиво смотрит Никто.
Прислонился себе
к водосточной трубе,
и постепенно
хмельная пена
дрожит и тает на губе.

Дал нам Бог наконец наводнение,
град и трус, и струи дождя.
Отсырелое недоумение
проступило на морде вождя.
Лишь гвардии георгин,
Александр Александрович Басаргин,
у здания клуба, где мокнет клумба,
с похмелья высится один
(совсем один!).
Вздыхает туба.
Промокла тумба.
Во всех театрах карантин.

УРОК ФОТОГРАФИИ. 1

Вот еще. Что ты плачешь, дурак?
Посмотри на картинку в кулак
и увидишь, как две спины
отделяются от стены,
обретают объем черты,
раскрывает улыбка рты,
и вперед протянулась рука,
и не знают два пиджака,
две рубашки, две головы,
что давно уж они мертвы.
Там, где груда пальто и шляп,
недодержан, как белая мышь,
(видно, был проявитель слаб)
приглядись — это ты стоишь.

Я стою, прислонясь к стене,
недодержан и под хмельком,
и гляжу: грядущее мне
угловатым грозит кулаком.

* * *

«Все пряжи рассучились,
опять кудель в руке,
и люди разучились
играть на тростнике.

Мы в наши полимеры
вплетаем клок шерсти,
но эти полумеры
не могут нас спасти...»

Так я, сосуд скудельный,
неправильный овал,
на станции Удельной
сидел и тосковал.

Мне было спрятать негде
души моей дела,
и радуга из нефти
передо мной цвела.

И столько понапортив
и понаделав дел,
я за забор напротив
бессмысленно глядел.

Дышала психбольница,
светились корпуса,
а там мелькали лица,
гуляли голоса,

там пели что придется,
переходя на крик,
и финского болотца
им отвечал тростник.

* * *

Живу в Америке от скуки
и притворяюсь не собой,
произношу дурные звуки —
то горловой, то носовой,
то языком их приминаю,
то за зубами затворю,
и сам того не понимаю,
чего студентам говорю.
А мог бы выглядеть достойно,
и разговорчив, и толков,
со мной коньяк по кличке «Дойна»
Глазков бы пил или Целков,
и, рюмочку приподнимая,
прищурив отрешенный глаз,
я бы мычал, припоминая,
как это было в прошлый раз —
как в час удалой поздней встречи
за водкой мчались на вокзал.
Иных уж нет, а я далече
(как сзади кто-то там сказал).

В ОТЕЛЕ

Цветной туман, отдельные детали
(как в детстве, прежде чем надел очки;
игра «Летающие колпачки» —
я позабыл, куда они летали).

Конгресс масонов в пестрых колпаках,
крутясь в сигарных облаках слоистых,
сливался с конференцией славистов
и растворялся в нижних кабаках.
Жидомасонский заговор в разгаре:
один масон уже блюет в углу,
слависты пьют, друг другу корчат хари
и лязгают зубами по стеклу.

Случайный славофильный господин,
надравшись в своем номере, один
сидит, жуя тесемки от кальсон,
на краешке кровати пустомерзкой
и ждет, когда с отвесом иль стамеской
ворвется иудей или масон.
Чужбинушка — подмоги ждать откель?
По стенкам бесы корчатся — доколе?

Как колокол, колеблется отель.
Работают лифты на алкоголе.
А это что там, покидая бар,
вдруг загляделось в зеркало, икая,
что за змея жидовская такая?

Ах, это я. Ну, это я …бал.
От шестисот шестидесяти шести
грамм выпитых, от пошлостей, от дыма
какое там до Иерусалима —
тебе бы до постели доползти.

ОТКРЫТКА ИЗ НОВОЙ АНГЛИИ. 2

Казису Сая

Древо и Бог. Далеко ль до греха?
Птичьего гама висят вороха.

Свиста и шороха грузный заряд
в животрепещущих кленах,
ошеломленные клены горят,
сломлены в полупоклонах.

Вот чем кончается пенье без слов
веток, полуночный свист их,
листьев касанья, раздвижка стволов
столь тонкогубо дуплистых.

Было о чем нам краснеть в октябре.
Будет вперед нам наука.
Сладко ли корчиться грубой коре
в схватке рождения звука?

Мало ли было подобных наук?
Листья — на землю, а птицы — на юг.

Листья вмерзают в предутренний лед
бурыми сотнями сотен.
Как он бесплотен был, этот налет,
Господи, как мимолетен!

Кончились — птицы, листва и тепло.
Падает снег и чернеет дупло.

СОН

горе подателю сего
он потерял свой паспорт
а гр
растопчина пригласила нас на топталище
будет адмирал шишков
писатели пушков и пешкин
лифшиц тоже обещал заглянуть
а без паспорта не пустят
паралич слов
ильич красок
а в семь часов америка закрывается
и уже поздно

ПЕСНЯ

В лес пойду дрова рубить,
развлекусь немного.
Если некого любить,
люди любят Бога.

Ах, какая канитель —
любится, не любится.
Снег скрипит. Сверкает ель
Что-то мне не рубится.

Это дерево губить
что-то неохота,
ветром по небу трубить —
вот по мне работа.

Он гудит себе гудит,
веточки качает.
На пенечке кто сидит?
Я сидит, скучает.

ОТКРЫТКА ИЗ НОВОЙ АНГЛИИ. 3

Отцу

Все птицы улетели, но одна
все мечется, когда перевожу
прощальный взгляд, октябрь благодаря
за то, что взвито все и завито,
бродя в лесу и натыкаясь на
шлагбаум, перекрывающий межу,
кленовый сук, упершийся в ничто,
как робкий посошок поводыря.

В моих глазах есть щелка темноты.
Но зренью моему не овдоветь.
Ведь лучшая для жизни половина
сквозь эту щель все явственней видна.
Прими мой стих, как подаянье, ты,
беспечная богатая страна.
Я в дом впускаю осень Халлоуина,
детишек в виде тыкв и в виде ведьм.

* * *

Я сна не торопил, он сразу состоялся,
и стали сниться сны, тасуясь так и сяк,
и мир из этих снов прекрасный составлялся,
и в этом мире снов я шлялся, как дурак.

Я мертвым говорил взволнованные речи,
я тех, кого здесь нет, хватал за рукава,
и пафос алкаша с настырностью предтечи
буровились во мне, и я качал права.

И отменил я «нет», и упразднил «далече»,
и сам себя до слез растрогал, как в кино.
С отвагой алкаша, с усилием предтечи
проснулся. Серый свет дневной глядит в окно.

Я серый свет дневной. Гляжу в окно: герани,
два хилых стула, сны — второй и третий сорт,
подобие стола (из канцелярской дряни),
на коем вижу не-гативный натюрморт:

недопитый стакан, невыключенная лампа,
счет неоплаченный за телефон и не-
надписанный конверт без марки и без штампа.
Фон: некий человек ничком на простыне.

МЕСТОИМЕНИЯ

Предательство, которое в крови.
Предать себя, предать свой глаз и палец,
предательство распутников и пьяниц,
но от иного, Боже, сохрани.

Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живет под форточкой отдельно.
Под нами не обычная постель, но
тюфяк-тухляк, больничный перегной.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна черт чего на простыне.

Еще толчками что-то в нас течет,
когда лежим с озябшими ногами,
и все, что мы за жизнь свою налгали,
теперь нам предъявляет длинный счет.

Но странно и свободно ты живешь
под форточкой, где ветка, снег и птица,
следя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится.

УРОК ФОТОГРАФИИ. 2

В чем дело тут — давайте разберем.
Не в том, что бренны серебро и бром.
Не в выцветшем лице интеллигентном.
А в том, что время светит фонарем.
Или рентгеном.

Смотри — под арматурною стеной
сидит во мне товарищ костяной
и важно отвечает на вопросы
стеклянной водки, кильки жестяной,
бумажной папиросы.

* * *

Роскошный круиз за баснословно дешевую цену. Маршрут: Мюнхен–Ялта–Хельсинки.

Из газет

Дом
наполнен теплом.
За стеклом
непогода.
Я не знаю, куда мы плывем,
но я чувствую дрожь парохода.
Это, наверное, тысяча восемьсот
год
какой-то из семидесятых.
Мы не знаем, куда нас несет,
пассажиров усатых,
при жилетах, цепочках, хороших манерах,
при позитивных началах...
Снег крупой.
Дождь рябой.
Многотонный прибой
молотобой-
ствует в скалах.
Но еще можно кофе сварить,
отворить
толстый томик российских стихов —
«Пир во время чумы»: есть упоение...
Накрахмаленный captain, возглавляющий
наш table d’hôte,

нам рассказывает анекдот
(он давно потерял управление
кораблем, но еще зеркала
рассмеются любезно
и еще в четырех миллиметрах стекла
мрак и бездна).

* * *

Что день — то повышается накал
смущения, смятения, тревоги.
Вот нынче утром зайчик прискакал
и, серенький, уселся на пороге.

Он всматривался в глубину жилья
не косо, а скорее косоглазо,
и наползала, сердце тяжеля,
какая-то неясная зараза.

Куда другой его уставлен глаз?
Какие там опасности и беды?
Какие козни поджидают нас —
враги? врачи? литературоведы?

Какие мне замаливать грехи?
Кому писать? Откуда ждать ответа?
Я что-то расписался, а стихи —
вот самая недобрая примета.

* * *

Прошла суббота, даже не напился;
вот воскресенье, сыро, то да се;
в окошке дрозд к отростку прилепился;
то дождь, то свет; но я им не Басё.
Провал, провал. Играют вяло капли,
фальшивит дрозд, пережимает свет,
как будто бы в России на спектакле
в провинции, где даже пива нет.
Приплелся друг, потом пришли другие.
И про себя бормочешь: Боже мой,
так тянутся уроки ностальгии,
что даже и не хочется домой,
туда, где дождь надсадный и наждачный,
в ту даль, где до скончания веков
запачканный, продрогший поезд дачный
куда-то тащит спящих грибников.

НОЧЬ

Хамоватая самка Прохора
мне садилась задом на грудь,
и внутри что-то ухало, охало,
копошилось, скулило чуть-чуть.
Словно все мои Жучки и Шарики
разбежались, поджав хвосты,
и зудели в крови кошмарики,
над устами тряслись кусты.
Зарастала моя околица,
трепетала моя колея,
что ведет туда, где колотится
опустелая церковь моя.

ОДИН ДЕНЬ ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА

Перемещен из Северной и Новой
Пальмиры и Голландии, живу
здесь нелюдимо в Северной и Новой
Америке и Англии. Жую
из тостера изъятый хлеб изгнанья
и ежеутренне взбираюсь по крутым
ступеням белокаменного зданья,
где пробавляюсь языком родным.
Развешиваю уши. Каждый звук
калечит мой язык или позорит.

Когда состарюсь, я на старый юг
уеду, если пенсия позволит.
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоем,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель,
как пар пыхтел и как пилась марсала,
как провожала пылкая мамзель,
как мысль плясала, как перо писало,
как в стих вливался моря мерный шум,
как в нем синела дальняя дорога,
как не входило в восхищенный ум,
как оставалось жить уже немного.

Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребенками». Отлично, Джо, пятерка!
Тургенев любит поглядеть в окно.
Увидеть нив зеленое рядно.

Рысистый бег лошадки тонконогой.
Горячей пыли пленку над дорогой.
Ездок устал, в кабак он завернет.
Не евши, опрокинет там косушку...

И я в окно — а за окном Вермонт,
соседний штат, закрытый на ремонт,
на долгую весеннюю просушку.
Среди покрытых влагою холмов
каких не понапрятано домов,
какую не увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.
В другой живет поближе к небесам
кто, словеса плетя витиевато,
с глубоким пониманьем описал
лирическую жизнь дегенерата.

Задавши студиозусам урок,
берем газету (глупая привычка).
Ага, стишки. Конечно, «уголок»,
«колонка» или, сю-сю-сю, «страничка».
По Сеньке шапка. Сенькин перепрыг
из комсомольцев прямо в богомольцы
свершен. Чем нынче потчуют нас в рыг-
-аловке? Угодно ль гонобольцы?
Все постненькое, Божии рабы?
Дурные рифмы. Краденые шутки.
Накушались. Спасибо. Как бобы
шевелятся холодные в желудке.

Смеркается. Пора домой. Журнал
московский, что ли, взять как веронал.
Там олух размечтался о былом,
когда ходили наши напролом
и сокрушали нечисть помелом,
а эмигранта отдаленный предок
деревню одарял полуведром.
Крути, как хочешь, русский палиндром

барин и раб, читай хоть так, хоть эдак,
не может раб существовать без бар.
Сегодня стороной обходим бар.

Там хорошо. Там стелется, слоист,
сигарный дым. Но там сидит славист.
Опасно. До того опять допьюсь,
что перед ним начну метать свой бисер
и от коллеги я опять добьюсь,
чтоб он опять в ответ мне пошлость высер:
«Ирония не нужно казаку,
you sure could use some domestication*,
недаром в вашем русском языку
такого слова нет — sophistication»**.

Есть слово «истина». Есть слово «воля».
Есть из трех букв — «уют». И «хамство» есть.
Как хорошо в ночи без алкоголя
слова, что невозможно перевесть,
бредя, пространству бормотать пустому.
На слове «падло» мы подходим к дому.

Дверь за собой плотней прикрыть, дабы
в дом не прокрались духи перекрестков.
В разношенные шлепанцы стопы
вставляй, поэт, пять скрюченных отростков.
Еще проверь цепочку на двери.
Приветом обменяйся с Пенелопой.
Вздохни. В глубины логова прошлепай.
И свет включи. И вздрогни. И замри:
...А это что еще такое?

А это — зеркало, такое стеклецо,
чтоб увидать со щеткой за щекою
судьбы перемещенное лицо.

---

* You sure could use some domestication — «уж вам бы пошло на пользу малость дрессировки».

** Sophistication — очень приблизительно: «изысканность».

НОРКОВЫЙ РУЧЕЙ
(Подражание Фросту)

— Где север, Лёша?
                    — Север, Нина, там,
поскольку наш ручей течет на запад.

День был проглочен с горем пополам,
не позолочен и ничем не запит,
и то, что в горле вечером торчит,
горчит, как будто ты три дня не емши.
Восходят звезды и ручей ворчит.

— Вообще, согласно Фросту, штат Нью-Хэмпшир
тем характерен, что его ручьи,
как правило, направлены к востоку.
— Так что, ручей, ворчи там не ворчи,
но ты бежишь неправильно, без толку.
— Оставь его, пускай живет один.
— А может, он повернут был, но кем же?
— Да нет, он, слава Богу, без плотин.
Вообще, согласно Фросту, штат Нью-Хэмпшир
нас от большого бизнеса хранит,
нас от избытка охраняет зорко.
Единственное разве что гранит
для мертвецов Бостона и Нью-Йорка —
вот все, что мы имеем поставлять.
А впрочем, есть вода, довольно леса,
но все же не довольно, чтоб сплавлять,
что, стало быть, не может представлять
коммерческого интереса.

Но на зиму здесь всем хватает дров,
и яблок впрок для пирогов и сидра,
на шапки местным жителям бобров
хватает, а порой блеснет и выдра.
Опять же лес дает нам лес на кров
(опять же не в количестве товарном),
и молока от собственных коров
вполне хватает нашим сыроварням.
И если расстараться, наконец,
то можно золотишка в этих реках
намыть за год на парочку колец,
конечно, тонких, но отменно крепких.
— Фрост Красный Нос.
                                        — Нет, нос был желтоват.
И весь он был — не желтизною воска,
а как желтеют яблоки, как сад
под осень, как закатная полоска,
как лампочка в свои под сотню ватт,
как, прежде чем погаснуть, папироска,
как пальцы у курильщика желтят.
— О-кей, о-кей. Изменим наш куплет.
Фрост Желтый Нос. Или какой был нос-то?
— На родине я прожил сорок лет
без малого.
                    — А он?
                                    — Он девяносто.
И, все же, эмигрировал, как мы,
туда, где свет имеет форму тьмы,
где тьма есть звук, где звук звучит, как вата,
туда, где нет ни лета, ни зимы...
— «Туда, туда, откуда нет возврата!»
— Да как сказать. А наших кто речей
сейчас предмет, их тема, их значенье?
Кто нам опять кивает на ручей
и просит рассмотреть его теченье?
Там вечно возвращается вода —
удар о камень и бросок обратно.

Пусть это мимолетно, но всегда...
— Пусть пустячок, а все-таки приятно!
А ежели серьезно, книгочей,
то это — «дань течения истоку».
Так мимо наших дней, трудов, ночей
течет на запад Норковый ручей.
Все прочие ручьи текут к востоку.

ХБ-2

То ль на сердце нарыв,
то ли старый роман,
то ли старый мотив,
ах, шарманка, шарман,
то ль суставы болят,
то ль я не молодой,
Хас-Булат, Хас-Булат,
Хас-Булат удалой,
бедна сакля твоя,
бедна сакля моя,
у тебя ни шиша,
у меня ни шиша,
сходство наших жилищ
в наготе этих стен,
но не так уж я нищ,
чтобы духом блажен,
и не так я богат,
чтоб сходить за вином,
распродажа лопат
за углом в скобяном,
от хлопот да забот
засклерозились мы,
и по сердцу скребет
звук начала зимы.

МОЯ КНИГА

Ни Риму, ни миру, ни веку,
ни в полный внимания зал —
в Летейскую библиотеку,
как злобно Набоков сказал.

В студеную зимнюю пору
(«однажды» — за гранью строки)
гляжу, поднимается в гору
(спускается к брегу реки)

усталая жизни телега,
наполненный хворостью воз.
Летейская библиотека,
готовься к приему всерьез.

Я долго надсаживал глотку,
и вот мне награда за труд:
не бросят в Харонову лодку,
на книжную полку воткнут.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ЦИТАТНИК

«Покойник из царского дома бежал!»
Н. А. Заболоцкий

Как ныне прощается с телом душа.
Проститься, знать, время настало.
Она — еще, право, куда хороша.
Оно — пожило и устало.
«Прощай, мой товарищ, мой верный нога,
проститься настало нам время.
И ты, ненадежный, но добрый слуга,
что сеял зазря свое семя.
И ты, мой язык, неразумный хазар,
умолкни навеки, окончен базар».
....
У князя испуганно ходит кадык.
Волхвы не боятся могучих владык
и дар им не нужен. Они молодцы.
Их отроки-други ведут под уздцы.
....
Князь Игорь-и-Ольга на холме сидят.
Дружина у брега пирует.
И конского черепа жалящий взгляд
у вечности что-то ворует.

* Эти стихотворения были исключены автором из состава «Чудесного десанта» при подготовке книги «Собранное: Стихи. Проза» (Екатеринбург: У-Фактория, 2000).

* * *

Ты слышишь ли, створки раскрылись, але, не кемарь,
как есть, неумыт и нечесан, ступай за порог,
туда, где от краешка неба отбита эмаль
и носик рассвета свистит, выпуская парок.

Как время изогнуто в этом зеркальном мирке.
Как длятся минуты, как бешено мчатся года.
Проверь-ка три первые цифры в своем номерке:
конечно же, тройка, конечно, семерка и да-

махая старательно левым и правым крылом,
вприпрыжку по скатерти и над зеленым столом,
и тянет теплом, и торчащее в горле колом
«пить-пить» встрепенуло охотника с черным стволом.

Ах, перепел жирный, с туманной твоей головой,
ну, Господи, что ты такое на грошик пропел,
взлетел на копейку, ну только едва над травой,
но все же достаточно, чтобы попасть под прицел.

Тайный советник

1985–1987

«Земля же
была безвидна и пуста»*.
В вышеописанном пейзаже
родные узнаю места.

* Бытие 1, 2.


I

* * *

> Нередко у примитивных народов кораблик помещается на верхушке шеста, водружаемого на крыше... Так имплицируется желание трансцендентального, выхода за пределы бытия, путешествия через пространство к иным мирам.
>
> *Х.-Э. Сирло*

Се возвращается блудливый сукин сын
туда, туда, в страну родных осин,
где племена к востоку от Ильменя
все делят шкуру неубитого пельменя.

*

Он возвращается, стопы его болят,
вся речь его чужой пропахла речью,
он возвращается, встают ему навстречу
тьма — лес — топь блат.

*

Его встречают по заморску платью,
его сажают в красные углы.
Он возвращается к любимому занятью —
подсчетам ангелов на острие иглы.

*

Он всем поведал, что Земля кругла
и некому пробить сей крепкий круг,
вот разве что Комета, сделав крюк,
но вероятность в общем-то мала.

*

Однажды, начитавшись без лампад,
надергав книжек с полок невпопад,
он вышел прогуляться до угла
и вдруг увидел: вон еще игла.

*

Там, из пластинки северных небес
игла пила мелодию не без
игривости — романса, что ли? вальса?
И к той иголке, светом залитой,
как прикипел фрегатик золотой,
похоже только что пришвартовался.

*

Команду ангелов сумел он увидать
и сосчитать (их было 25),
на палубе златого корабля
мелькали крылья, бегали огни,
они вели себя как дети, как пираты.
И думал он, губами шевеля:
«Выходит, вот как выглядят они,
летательные эти аппараты,
так вот где принимает их Земля».

ПВО*

Как ныне сбирается вещий Олег
спалить наши села и нивы.
Авось не сберется — уж скоро ночлег,
а русичи знатно ленивы.
Он едет с дружиной, в царьградской броне.
«Эй, Броня, подай мою бороду мне!»

А меч под подушкою будет целей,
меча мне сегодня не надо.
Я выйду из леса, седой лицедей,
скажу командиру отряда:
«Ты опытный воин, великий стратег,
но все ли ты ведаешь, вещий Олег?

Допустим, я лжив, я безумен и стар,
и ты меня плетью огладишь,
но купишь ты, князь, мой лежалый товар
и мне не деньгами заплатишь.
Собой и потомством заплатишь ты мне,
как я заплатил этой бедной стране,

стране подорожника, пыльных канав,
лесов и степей карусели.
Нам гор и морей не видать, скандинав,
мы оба с тобой обрусели.
Так я предрекаю, обрезанный тюрк».
И тут же из черепа черное — юрк.

---

* «Песнь Вещему Олегу», посвященная также тысячелетию крещения Руси, Артуру Кёстлеру, Л. Н. Гумилеву, А. С. Пушкину, коню и змее.

«Не дрыгай ногою, пророка кляня,
не бойся, не будет укуса.
Пусть видит змеиное око коня,
что Русы не празднуют труса.
Пусть смотрит истории жалящий взгляд,
как Русы с Хазарами рядом сидят».

У них перемирие, пир, перегар.
Забыты на время раздоры.
Крещеные викинги поят булгар,
обрезанных всадников Торы.
Но полон славянскими лешими лес.
А в небе Стожары. А в поле Велес.

Еще некрещеному небу Стожар
от брани и похоти жарко.
То гойку на койку завалит хазар,
то взвоет под гоем хазарка:
«Ой, батюшки светы, ой, гой ты еси!»
И так заплетаются судьбы Руси.

Тел переплетенье на десять веков
записано дезоксирибо-
нуклеиновой вязью в скрижали белков,
и почерк мой бьется, как рыба:
то вниз да по Волге, то противу прет,
то слева направо, то наоборот.

Я пена по Волге, я рябь на волне,
ивритогибрид-рыбоптица,
А. Пушкин прекрасный кривится во мне,
его отраженье дробится.
Я русский-другой-никакой человек.
Но едет и едет могучий Олег.

Незримый хранитель могучему дан.
Олег усмехается веще.
Он едет и едет, в руке чемодан,
в нем череп и прочие вещи.
Идет вдохновенный кудесник за ним.
Незримый хранитель над ними незрим.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Не пригороды, а причитания: охты, лахты.
После получасового полета
под мост уплывает плевок.

Все, что осталось от гангутского флота —
дрянноватый дредноут плавучей гауптвахты
и ресторан-поплавок.

Еще сохранилось два-три причала,
у моряков кривая походка,
у набережных адмиральские имена.

Но в трюме жалобно поплескивает водка,
море окончательно измельчало,
экспедиция отменена.

«Гибель эскадры». «Стерегущий». «Варяг».
Самопотоплением
славятся русские корабелы.

Прогноз не побалует потеплением.
Афиши анонсируют ужасный брак
«Голого короля» и «Снежной королевы».

ВЕНЕЦИЯ, 1983

Не Красная площадь

Вот где венеды возвели свой рай,
набивши в вязкий ил корявых свай!
А дома усидевшие славяне,
как видно, крепко дурака сваляли.

Торгаш наторговал, натырил вор,
по нитке с миру возвели собор,
московского еще блаженней Васи,
знать, на вине вольготней, чем на квасе.

Здесь строил Фьораванти, хитрый грек,
на берегах каналов сих и рек,
и как-то легче строил, беззаботней,
но был в Москву заманен длинной сотней.

Зачем же там смастырил он острог,
где дух империи оттягивает срок,
куда въезжают черные машины?
Что думают в них хмурые мужчины?

Что работяг, набивших мозолéй,
притягивает в бурый мавзолей?
Злорадство? Или просто близость ГУМа?
Какая их одолевает дума?

...Так размышляя в местностях иных,
как будто впрямь покинув крепостных,
на их хлебах беспечные дворяне,
потягиваем кофе Флориани.

Здесь дивно то, что площадь — край земли,
что вровень с ней проходят корабли,
что горизонт не загорожен зданьем.
Эй, официант, давай, сюда рули,
получишь легковесные нули
деньжонок с поэтическим названьем.

Дождь

Набережные намокли,
капли как-нибудь,
как небрежные монокли
падают на грудь.

То-то волны кольцевидны,
сваи в них весь день,
точно мокрые цилиндры,
малость набекрень.

А большой лагуны сцена
вечно в мельтешне,
там захлестывает пена
белое кашне.

Расстояния матросам
на один плевок.
Толстощеким и курносым
смотрит островок.

Взглядом мертвым и упрямым
(мокр и мертв, и прям)
смотрит в небо мокрый мрамор,
под которым там

бывший кукиш сцене царской,
бедный сибарит,
аки лев венецианский
Дягилев зарыт.

То-то горе — сине море,
черные гробы!
Но гудят, гудят в миноре
в белых две трубы

пароходы местных линий,
воды бороздя.
И длиннее черных пиний
линии дождя.

Мура, но…

Стекло — произведенье рта.
Но есть запретная черта.
Переступи ее, попробуй: глядь, и не вышло ни черта.

Поэтому в горячий рот
он трубку длинную берет
и раскаленный шар вздувает, то кверху, то наоборот.

Мура, конечно, мишура.
К тому же страшная жара.
К тому же, вредная работа, и редки стали мастера.

Овеществленный вздох оно.
Но вот оно отделено.
И вот оно стоит на полке — красиво, но слегка смешно.

ИЗ РАДИОПЕРЕХВАТОВ
Ноктюрн

Цепная реакция псов,
их брёх, охота на блох
подкатывается под Псков
комком тошноты под вздох.

Цепная реакция псов.
Их брёх. Охота на блох.
Все этой ночью заглохло.
Угол вселенной заглох.

Т. е. ни дать, ни взять,
не присесть, не выпить.
Ты, что ли, спятила, Припять,
этот берег лизать!

То не воют в Чернигове трубы
то не топот в Путивле копыт,
то не свозят под Киев трупы,
то не Ярославна вопит,

то не тараканы-мутанты
вползают в Тмутаракань,
то прут по бетонке танки.
Куда вы в такую рань?

«А мы знаем, куда мы прем?»
«Пушкин, я — Гоголь. Прием».
«Приказ: совершенно секре...»
«Повторяю: реактор. Ре...»

«...третий день обострится
понос, выпаденье пера».
«Повторяю: редкая птица
долетит до середины Днепра».

МАЯКОВСКОМУ

1. Рассказ композитора И. Койзырева о вселении в новую квартиру

Размышлять, как надолго соседский пацан-онанист
запрется в сортире на этот раз,
дрожать по утрам, как осиновый лист,
не слишком ли громко скрипел матрас,
различать пять чайников по голосам,
платить за кретинов, оставляющих свет,
у соседки угадывать по глазам,
харкала она в суп или нет.
Хватит! не зря я мотался на БАМ,
«Сюиту строителей» творил на века,
за «Едут, едут девчата на бал»
у меня диплом ЦК ВЛК-
СМ и из авторских прав три куска —
я все это вкладываю в ЖСК!

В новой квартире будет у нас благодать.
Бобика переименуем — Рекс.
Перекуем мечи на оральный секс,
т. е. будем трахаться и орать
сколько влезет, за каламбур пардон,
но главное — ванная. Остальное потом.

...и пока моя ванна наливается бурля,
я в системе «Сони» на полный врублю Вивальди,
из серванта достану французский за двадцать четыре рубля,
сами себе, старички, наваливайте и наливайте.

Я вхожу с полотенцем махровым и вафельным в кафельный
мой сануз.
Подходящее место для жизни — Советский Союз!

2. Стихи о молодецком пастыре

Глянцевитая харя в костюмчике долларов за пятьсот
дубликатом бесценного груза из широких штанин
достает Евангелие и пасет
телестадо страны, которой я гражданин.
В ореоле бриолина мерцает хилый вихор.
Он дает нам советы по части диеты, бюджета и мочеполовой,
а когда он кончает, взвывает затруханный хор:
«Господи, наш рулевой!»
Засим налетает рекламная саранча,
норовя всучить подороже Благую Весть.

Но ангел-хранитель выключает телевизор, ворча:
«Можно подумать, в атеизме что-то есть».

3. Париж

...в черных чулках госпожа.
Ю. Кублановский

Настоящие русские умирают в Париже.
Не потому, что к дому поближе,
а потому что... Ну, в общем, Париж.
Мертвые лебенсрауму не имут,
но имут в Германии мерзкий климат.
В Лондоне тоже не полежишь.

Кому-то это покажется диким,
но в Нью-Джерси зарыт Деникин
и в Массачусетсе Якобсон.
Гробы изнутри здесь вроде матраса,

с точки зрения местного среднего класса,
смерть — это красиво и как бы сон.

Еще остается утеха сноба —
накрыться в Венеции крышкой гроба
(композитор Г. Малер, слова Т. Манн).
Смерть в постановке Лукино Висконти?
Уж лучше в клочки на сирийском фронте,
чем это кино и цветной туман.

Оно как-то проще в толпе Парижа.
Подойдет, по-французски скажет: «Парниша,
триста франков — пойдем?»
Сердце расквасит не сентиментальность.
Что нам Москва? Не за тем метались.
Потом посмотрим, что будет потом.

24 АПРЕЛЯ 1903 ГОДА

Ать-два, ать-два, по слякоти прошлепав,
ушел от нас пехотный полк.

Тер-Психорян, Эратов, Каллиопов
в буфете пьют мадеру в долг.

Эратов (воспламеняясь). У ней «мадам Сижу», простите, до полу-с.

Буфетчик Аполлон Евстафьич Попадопулос
перестает перетирать стаканы.

Тер-Психорян. Вы говорите пошлости, Эратов.
Эратов. Опять разыгрываем аристократов.
Каллиопов. Товарищи, да перестаньте же, вы пьяны.

Туда-сюда по слякоти пошлепав,
зашел на почту Каллиопов.

Почтовый служащий, задумчивый мудило
из сюртука и сюргуча, цитирует из Александр Сергеича:
«Погасло дневное светило...»
Глядит в окно, дождем в глаза летит
уездной типографии петит:

> в России все кончается попойкой,
> трактирной стойкой,
> больничной койкой,
> никто не управляет Русью-Тройкой,
> ах, господа, куда она летит?

«Он прав, брат Каллиопов». «Прав, Микеша,
а посему сворачивай дела,
пошли».

«Постой. Вот из Москвы пришла
забавно искаженная депеша.
К нам едет, видишь ли,
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЕСТАЛОК...»
«Над пристанью дождик. Над церковью стаи галок.
Мелкие чиновники. Провинциальные актеры.
Я бы разрезал эти полотна на куски,
сшил бы лоскутные шторы
и завесил бы окна от этой тоски».

Декадентствующий Каллиопов,
губами пошлепав,
целится вилкой в масленок с прилипшим листком шалфея.
Блаженствующий приятель дремотно
советует взять чуть левее.

Из города уползает шоссе, уже и не требующее ремонта.

Полк на привале спит. Охрана
не спит. Нахальная луна проворно выползает из-за сруба.
Дежурный капитан голосом Тер-Психоряна
внезапно говорит: «Что мне Гекуба?»

ЕРЁМИАДА

Пентаграммы фальшивых рубинов кровавят
зиккурат цвета им же хранимой
мумии эпонима Северной Пальмиры.
Иудеи рыдают на реках вавилонских.
В Аккадемии Верховный Жрец Вавилонов
перетирает в ступе кости казненного брата.
О чем там галдят халдеи?
А, все о том же: «Свобода есть познанная необходимость».

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК
(*по Соловьеву*)

Весь день он бегал по делам,
по городу мелькал,
вопрос о сроках подымал,
на суммы намекал.
Издатели — такой народ,
им палец не клади
в рот. Он набегался, но вот
все это позади.
«Теперь в гостиницу скорей», —
подвзвизгнул Аппетит.
Еще с порога из дверей
он видит — стол накрыт:
столь нежнорозовый лосось
там напластован наискось,
что об Авроре вспомнилось,
о розовом ее сосце,
блестит под устрицей ледок,
засим на серебре клубок
темнокоричневых миног
в горчичном соусце,
бараний жаркий жирный бок
и спаржи слабый стебелек,
и то, что булочник напек, —
все это вызывает шок,
восторг и дрожь в крестце.
. . . .
Уже бараний съеден бок
и спаржевый гарнир.
«Не ешь так много, Сведенборг,

в углу проговорил —
кто? Никого в столовой нет,
зал полутемный пуст;
ну, разве проскрипит паркет
или раздастся хруст
в камине — это все вдомек,
в пределах естества,
но нету никого, кто мог
произнести слова,
от коих левый сведен бок
и пропотела плешь:
«Не ешь так много, Сведенборг,
ты слишком много ешь.
Чем жирных уминать миног
подчас зараз по сту,
предайся лучше, куманек,
молитве и посту.
Свидетель Бог, уж виден гроб,
где пляшет бесов рать.
Не ешь так много, Сведенборг,
не нужно столько жрать.
Ты ныне духом нищ, и вот
туда, где тьма и слизь,
к себе в колодец-пищевод
Иосифом свались.
Ты много ел, ты много пил,
ты долго жировал,
на палец сала накопил
желудок, желт и ал.
Свеченье печени в ночи,
как тучи грозовой,
и на проспекте Газа вонь
бензина и мочи.
А уж отсюда близок путь,
минуя стадион,
в слепой отросток заглянуть,
где бредит Родион.
Простится в вышних перепуг,

но сытость не простят.
Ты думал — Лондон, Петербург,
а это просто — ад,
где сатана от лени „Нгррр...“
рокочет вдоль кишок...»
. . . .
Но тут вошел служитель-негр
и канделябр зажег.
«С утра он не был, вроде, сед,
забавный этот швед».
— Прикажете подать десерт?
Он отвечает:
— Нет.

СОНЕТ

Сомнительный штаб-ротмистр Фет
следит за ласточкой стремительной,
за бабочкой, и мир растительный
его вниманием согрет.

Все это — матерьял строительный,
и можно выстроить сонет,
и из редакции пакет
придет с купюрой убедительной,

и можно выстроить амбар,
а то ведь старый подгнивает.
Читатель, вздувши самовар,

в раздумье чай свой допивает:
«Где этот жид раздобывает
столь восхитительный товар?»

21 ФЕВРАЛЯ 1895 ГОДА

Над секретным донесением бежавшего в Нью-Йорк
иеродиакона Агапия «Об употреблении евреями
христианской крови»
он то задумывался, то приходил в восторг,
то потел и, все чаще в последнее время,
засматривался в окно.
Через дорогу, в больничном саду,
практичный двудомик — часовня и морг.
В часовне распятый человек — Бог.
В морге раздетый человек — бр-р-р.

Ровно в 4 горничная по звонку
впускала в прихожую шубу на енотах.
Шуба раскрывалась — со скрипучим «Нуте-съ»
в кабинет входил профессор Гиммельфарб.
— Любезнейший Кай Ёныч,
мне решительно не нравится ваша моча.
— Мне ваша тоже.
— Пытаете судьбу-с.
— А что, доктор, неужто без крови уж маца не маца?
— А уж это de gustibus...
— А не угодно ли disputandum за чайком?

Так и скоротали сто лет.
Бога забелили. Разделили жилплощадь.
Бывший чаек (ныне закат) подкрасил лазурь,
в которую превратился б. профессор.
Морг расширился за счет часовни.

Пра-пра-
внук Агапия — старший партнер
средней руки адвокатской конторы,
Бродвей угол 32-ой улицы:
Voznesensky & Rosenkreuz.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

А. С. Пушкин

М. Ю. Лермонтов (14 лет):

«Внимали пленники уныло
Печальной песне сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...»

Татарин:

урус кильдым кончал базар
папаш мамаш писма писал
писма писал пять тыщ деньга
деньга барда гуляй нога

Письмо Жилина:

Адрес: Город Дураково
Господину Неттаково
А подателю сего
не давайте ничего.
Впрочем, право, можно дать
плетей двадцать — двадцать пять,
чтоб не зря пускался в путь.
Ну, а я уж как-нибудь.

(Пушкин:

«Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь».)

Письмо Костылина:

...крест крестильный с шеи сняли.
Если б, маменька, Вы знали,
как тут нравы непривычны,
как татары неприличны,
невоспитанны и злы!
Ноги у меня опухли,
а под мышками набухли
лимфатически узлы.
Только лишь на Вас, родную,
я надеюсь. Закладную
под именье можно взять,
ан и выйдет тысяч пять.

Два бреда:

Темь. Ночь. Яма. Яма. Ночь.
У татарина есть дочь.
Дочь татарина мала.
Маша встала и пошла.
Глазки сини, косы русы.
На Руси живут урусы.
Пуля дура, а храбра.
Пряжка — наши прапрапра-
прагорбаты и горчат.
Куча-туча татарчат.
Ну, Фруфрушка, выноси.
Вот уж мы и на Руси.
Здесь дом мой, а там дом твой.
Чей там лай и чей там вой?
То ли Жучка, то ли Шарик.
Белый шарик, красный шарик.
Левый мозг и правый мозг.
День так холоден, что жарок.
Два конца имеет мост.

Мост имеет два конца.
Уже поздно так, что рано.
На мосту стоит овца.
Она раба барана.
А на рабе — ба! рана.

Л. Н. Толстой:

«— Иди один,
за что тебе из-за меня пропадать.
— Нет, не пойду:
не годится товарища бросать».

От автора:

Начался пожар от свечки.
Весь сыр-бор из-за осечки.
Дураки у нас солдаты —
чистят ружья кирпичом...

Л. Н. Толстой:

«Послали Дуньку в пуньку».

От автора (продолж.):

...но они не виноваты,
да и мы тут ни при чем.
Много денег, мало денег —
каждый, каждый в жизни пленник.
На ногах у нас колодки —
в виде бабы, в виде водки,
в виде совести больной,
в виде повести большой.
Не уехать нам с Кавказа,
не видать конца рассказа,
Вечно тянется обоз.
Бородой Толстой оброс.
По дороге без развилин
едут Жилин и Костылин
и сливаются в одно
зо-ло-тис-то-е-пят-но.

КРЕЩЕНЫЙ ЕВРЕЙ
(*Из восточнославянского фольклора*)

1. Песня

Ой, шнурок крученый
на колене черном.
Едет жид крещеный
на коне леченом.

Красная рука, задумавшись на колене, крепко держит на шнурке образ св. Угодника Николая Мирликийского. Мирликийский спасает. Жидовское черное пальто сильно забрызгано от лошадиных копыт, а шапка меховая, недешевая. Он не поет и не свистит, а смотрит перед собой и ухмыляется своей мысли. Это мысль о граненой охапке хлебной водки и стакане душистого овса: от долгой дороги мысли бывшего жеребца и бывшего еврея стряслись вместе, оба шумно тянут ноздрями. Но входит запах только холода и влаги. Проехали редкий дождик, застрявший над распаханным паром, въехали в березняк, более черный, чем белый, в пасмурную пору. За лесом всадник угадывает по сгущающейся хмурости время, стаскивает левой рукой шапку и, скорее создавая в своем слухе, чем слыша, колокол невидимой церкви, осеняет себя крестным знамением: вниз они едут к бедным русским избам без огней в окошечках господи помилуй — и верный принятому правилу путник больно стучит красным суставом указательного в мокрую доску первой же двери.

«Это кто?» — пугливо спрашивают.

«Отец В’адимигх из Швято-Отгхоческой обители», — отвечает просящий ночлега, с трудом сажая русские звуки на ту интонацию, цель которой торопливо умалить, высмеять и почти отменить смысл произносимого. «Вже ви мене пустити ночевать гхади Гхиста?»

Из-за двери доносится молчание, означающее борьбу своекорыстия со странноприимством, только неожиданно громко прорывается

пояснение: «Монах жидовский». Все это заканчивается мокрым лязгом щеколды и вонючей волной парного тепла.

«Входи Христа ради. В хлевушке и ночуй».

Телушка — подушка,
соломка — покрывало,
хоть ты и крещеный,
веры тебе мало.

Ночь — утро.

Меховую шапку,
скажем, потеряли,
а коня-лошадку
цыганы украли.
Ой!

2. Сказка. «Камень»

НАПРАВО ПОЙДЕШЬ — ПРИВЫКАЙ К СУМЕ
НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ — НАСИДИШЬСЯ В ТЮРЬМЕ
ПРЯМО ПОЙДЕШЬ — ПОВРЕДИШЬСЯ В УМЕ
НАЗАД ПОЙДЕШЬ — ЗАХЛЕБНЕШЬСЯ В ДЕРЬМЕ

Читал он внимательно, словно особый урок,
крючком указательным дергал шнурок, как курок,
и он наконец осенил себя знаком креста,
и конь повторил его жест движеньем хвоста,
и он наклонился к замшелому валуну,
и его обхватил, и надулся, и молвил: «А ну...»
(иль это молвил Хранитель с огнистым мечом,
незримо паривший над вздернутым левым плечом?),
и вывернул волглый валун, от натуги треща,
и его сковырнул с дороги в побеги хвоща,
в улиточный сочень, в мшанину, в гнилую бочагу,
и снова залез на коня, и коняга прибавил шагу.

Примечание: Читатель скажет: «Он у вас дурак.
Хоть к черту апеллируй он, хоть к Богу.
Знак „поворот“, допустим, только знак,
его убрав, не выпрямишь дорогу».
Да, так у вас, а вот у нас не так,
и он не зря старался, вставши раком:
по-нашему, тот, кто разрушил знак,
разрушил обозначенное знаком.

3. Гимн

На небе, как в Голубиной Книге,
еврейская грамота березняка.
Михаил Ерёмин

Ой, закончились долгие поиски
главной книги одной.
Лес ты мой, лес, белорусский и польский,
русский, литовский, родной.

Ой, мой дремучий, ветку нагни-ка,
что напечатано тут?
Лес ты мой, лес, моя главная книга,
самый толковый талмуд.

Это читается или поется,
или бормочется как?
Даже тростник в придорожном болотце
что-то осмыслил, дурак.

Крепкие четкие листья топорщат
Ясень, Береза и Бук,
будто подвыпил под Праздник Наборщик,
Все Понабрал С Больших Букв.

Ах, Не Удержишь Кукушек И Горлиц
От Прорицаемого.
Ключ Я Нашел От Неотпертых Горниц
В Доме Отца Моего.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Сижу под вечер стихший,
застыл, как идиот,
одно четверостишье
с ума нейдет, нейдет:
Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненною драмой
*Загадочно полна.**

Среди российских скальдов
известен ли К. Льдов?
В завалах книжных складов,
знать, не сыскать следов.
Весь век его невнятен —
атласных канапе
и золотушных пятен,
и Чехова А. П.,
от водочки к боржому
«эпоха малых дел»
(как будто по-большому
никто и не хотел).
Взволнованные речи
и бархатный жилет,
и волосы по плечи,
чтоб знали, что поэт.
Папашины клистиры,
папашин стетоскоп.

* Из стихотворения К. Льдова «Швея» (1890).

А в церкви, где крестили,
все усмехался поп.
Но Розенблюм не хочет
быть Розовым Цветком,
а буква «ль» щекочет
красивым холодком,
и веет грустной сказкой
красивый псевдоним
с оттенком скандинавско-
славянско-ледяным.
Слова он любит — «драма»,
«загадка», «трепет», «рок»,
и только слово «рама»
вдруг стало поперек.
А девушка машинкой
в окне стучит, стучит,
и что-то под манишкой
в ответ стучит, стучит,
и что-то вроде гула,
и ясно не вполне,
но что-то промелькнуло,
послышалось в окне.
Не «тема женской доли»,
не Маркс, не Томас Гуд,
да чорта ли в том что ли,
в «Биржевке» все возьмут.
«Проклятые вопросы»?
Да нет, не то, не то...
И пепел с папиросы
спадает на пальто.
Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненною драмой
Загадочно полна.

Ньюхемпширский профессор
российских кислых щей,
зачем над старой книжкой

я чахну, как Кащей,
как будто за морями,
сыскали мой дворец,
как будто разломали
заветный мой ларец,
как будто надломили
тончайшую иглу,
и здесь клубочки пыли
взметаются к стеклу,
и солнце проникает
в мой тусклый кабинет,
на книгах возникает
мой грузный силуэт,
вся тень фигуры в кресле
сползает по стене
и, видимо, исчезнет
минуты через две —
Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненною драмой
Загадочно полна.

«ЛЕБЕДЬ ПОТА ШИПА РАН»

(Многоступенчатая нордическая метафора:
шип ран — *меч*: *пот меча* — *кровь*: *лебедь крови* — *ворон*.)

1

В доме варежки вяжут варяжки,
в доме тихо, тепло, полумрак.
В генеральской тужурке, фуражке
на войну уезжает варяг.

В генеральской тужурке и стрижке
волосок к волоску, полубокс,
и, полвека привычно остривший,
произносит швейцар: «Полубог-с».

Сквозь зеркальные стекла подъезда
дочь-курсистка угрюмо глядит.
Черный паккард срывается с места.
Черный ворон на битву летит.

2

Для филолога это не диво,
карандашик слегка обведет,
в липковатом комке генитива
предсказуемы «меч», «кровь» и «пот».

Чу, часы заворочались — девять.
Библиограф подходит опять.
Остается невыяснен «лебедь».
На столе позабыта тетрадь.

Невский умер. Подходит девятка
и увозит в туман, гололедь.
Ах, надолго забыта тетрадка!
Белый лебедь остался белеть.

3

Пациенты боятся наркоза,
но сдаются в тоске и слезах.
Рваной раны огромная роза
распускалась у всех на глазах.

Ковыряясь в глубинах разреза,
уже просто рукой без ножа
извлекая из мяса железо,
пел: «Пощады никто не жела...»

Медсестра с драгоценною ватой
подошла ему лоб обтереть,
и мгновенно комок сероватый
кровь и пот пропитали на треть.

4

«Слово о половецком разгроме,
о „Варяге“, идущем ко дну,
Ермаке перед смертью в истоме —
все сливается в тему одну».

Подготовлен доклад к семинару.
Вдруг, при поиске беглом ключей,

хмурый взгляд упирается в пару
на тужурке скрещенных мечей.

На мгновенье отбросило фото
для фотографа сделанный вид?
Или стукнула дверь? Иль всего-то
запах шипра? Но меч глянцевит.

* * *

Запах шипра, но меч, глянцевит,
кровь и пот пропитали на треть.
Черный ворон на битву летит.
Белый лебедь остался белеть.

РАЕК НЕСКЛАДУХА СОЧИНЕННЫЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДУХА И ВОЗВРАТА К ЖИВОЙ НАТУРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КНИГИ ЭЗОПОВ ЯЗЫК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

призрак бродит по европе борода на круглой жопе и бормочет эта блядь плохо гроши зароблять и доносится из крынки в серопегой бороде продается труд на рынке и вообще бардак везде а дальше вот чего было дарвин энгельс клод бернар завалились на базар купите ка укропа у питекантропа звон гляди тка бабка троглодитка продает юбку джерси вязала из собственной шерсти а в углу орда еще не очеловеченных воздействием труда чумазые павианы продают мимозу и пионы а дальше вот чего было как потеряли пролетарии свои цепи разбежались в леса и степи кто на дерево залез кто в канаву запрыг а рыжий в кепи на броневик по броньце копытцами как запристукивает русь матушку бесами как заприпугивает троцким багрицким урицким щербицким богданом хмельницким тимошенкой евтушенкой шульженкой катаевым кербабаевым кара караевым райкиным хайкиным львом квитко отцом дудко воскресенской вознесенским рождественским а дальше вот чего было тут чуковский с мандельштамом а еще евгений шварц нарядясь гиппопотамом путешествуют на гарц ура ура ура они поймали комара и давай народ дивить комара давай давить и народ не мог не понять намек что раздавленный комар был в самом деле клод бернар

* Lev Loseff. *On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature, Arbeiten und Texte zur Slabistik № 31,* Herausgegaben von Wolfgang Kasack, Muenchen, Verlag Otto Sagner in Kommission, 1984, S. 274, DM38.

БРАТЬЯ К*

Куличики, калачики,
крестики, нули.
Папашку раскулачили,
мы трое утекли.

Один в Москве был банщиком —
не знали чудака?
Другой стал барабанщиком
в оркестре ЦДКА.

Нежнейшая натура
был банщик, не нахал,
следил,чтоб не надуло,
все дверки прикрывал.

Глаза его тюленьи
глядят то в пол, то в таз,
и в женском отделеньи
он замещал не раз.

Он видел в клубах пара
не прелести, не срам —
жнивье, полоску пара,
над речкой старый храм.

---

* Издателю известна полная фамилия братьев, но здесь, по понятным причинам, она приведена быть не может.

Средь визга, лязга шаек
нашел себе резон —
он слышал крики чаек,
церковный перезвон.

Бурлит орава банная,
он, розовый, сидит...
А шкура барабанная
тем временем гудит.

Гудит тугая шкура
который год подряд.
Бунтарская натура
был барабанный брат.

Он буйная натура.
Он лупит, в раж войдя,
как будто это — шкура
Великого Вождя!

«СОЖЖЕНО И РАЗДВИНУТО»

И все, чего нет на картине,
Ему пережить суждено.
В. Шефнер

Березка. Девицы прическа.
Рассвета/заката полоска.
Виток (т. е. ветер). Волна.
«Дороги». «Закат над заливом».
«Рассвет над проливом». Стыдливым
петитиком — сзади — цена.

Ах, что-то не тянет смеяться,
а тянет дежурством сменяться
в дурную эпоху, в тот свет,
где из-под стеклянного шара,
набив в портмоне гонорара,
выходит на Невский поэт.

Он грустен: «Обложка по Сеньке.
Халтура за медные деньги.
Заезжен размер, а строфа
разношена старой галошей.
Весь стих, как трамвай нехороший,
что тащится на острова.

Что делать — дурная эпоха,
все попросту пишут, да плохо,
что хуже и впрямь воровства.
Эх, грудь ты моя, подоплека,
всех помнишь, а вслух только Блока,
и то с отрицаньем родства».

(Что делать — дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего — только война.
Что делать, такая эпоха
досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.)

Автобус! машина «победа»!
прошу, не давите поэта,
не смотрит он по сторонам.
В нем связь между нами и Блоком,
в ледащем, слегка кривобоком,
бредущем в плохой ресторан.

О муза! будь доброй к поэту,
пускай он гульнет по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб желтым зажегся в графине
закат над его заливным.

3 РУБЛЯ
(случай в Москве)

В котельной
багров кагор близ колбасы отдельной.

И вдруг на трех рублях, где будто б злак,
он распознал масонский знак,
а в самой цифре 3
узрел звезду Давида.
Похолодело все внутри,
но он не подал вида.

Гремело радио, бодря,
всех призывая на заря-
дку. Встала над Москвой заря
тридцать второго мартобря.

Он принял в сквере двести грамм
и наблюдал, дремля,
свеченье красных пентаграмм
над башнями Кремля.
Он спал, но то был вещий сон,
в нем было 5 идей:
1) имеют башни облик свеч;
2) их ясно кто сумел возжечь;
3) Фиораванти— иудей;
4) Наполеон — масон;
5) ……………………

Оплывал потихоньку красный воск,
и левый мозг за правый мозг

поехал кое-как.
К себе домой через Крымский мост
шагает кочегар.

Из чувств он ощущал — тоску.
Он понимал, что проиграл
тому, кто хозяйничал в мозгу
и бодро ручки потирал,
и инструменты выбирал.
«Идем к тебе». «Идем ко мне».

Жена на службе. Суп на окне.
Ребенком воздух весь пропах.
Диавол был во всех углах.

Проснулся он от тишины.
Все еще не было жены.
Он чувствовал конец игры.
Он знал, что́ было тишиной,
но брел проверить — не мокры
пеленки дочери грудной?
О да, мокры они, мокры.

DE PROFUNDIS

Лежит на стойке друг-котище,
глазища зеленей со сна.
Я говорю: «Налей, трактирщик,
зеленого налей вина,
налей мне чарку зелена».

Трактирщик говорит: «Ну, Лёш,
ну, что ты, Лёша, воду мутишь?
Я бы налил, да как нальешь!
Ну, а налью — как пить-то будешь?
Иди, иди, и так хорош».

Я бы пошел, да как пойдешь —
не вытянуть подошв из ила.
«Извозчик, друг, не подвезешь?»
«Один подвез... Куда — чудило!»
Зеленый плещется овес.

А эта церковь как была,
да только поп уплыл куда-то,
и бирюзовы купола,
а золото зеленовато.
А вот и рыбка подплыла.

Улыбкой рыбкин рот распорот.
Вот в китель влит порядка страж.
Уж он-то, знать, залил за ворот.
Так возвращаюсь я в наш город.
Ах, рыбка, рыбка, что мне дашь?

II

ПОСВЯЩЕНИЕ

Смотри, смотри сюда скорей:
над стаей круглых снегирей
заря заходит с козырей —
все красной масти.

О, если бы я только мог!
Но я не мог: торчит комок
в гортани, и не будет строк
о свойствах страсти.

А есть две жизни как одна.
Стоим с тобою у окна.
А что, не выпить ли вина?
Мне что-то зябко.

Мело весь месяц в феврале.
Свеча горела в шевроле.
И на червонном короле
горела шапка.

АКВАРИУМ

Средь блесток и миног
купальщики скользят
с глазами между ног.
То голубее льда,
то изумруден глаз.
Глядит сквозь плексиглас
корявая звезда
и гладкая подлодка,
и вороная сплотка
ракет вода-вода.
Беззвучны их слова:

«Что гонит вас сюда
в сочельник Рождества?
Должно быть, холода.
А глаз у вас по два,
притом на голове.
Сквозь толстый плексиглас
они глядят на нас».

Один о Рождестве,
смотри же в мир иной,
где сонный синий свет
выносит раскоряк
то медленных, то скорых.
Ты отделен стеной.
Смотри, сжимай в кулак
пять чувств, среди которых,
наверно, веры нет.

ИКОНА

Аквариум в сочельник Рождества.
Возможность невозможного коснуться.
Кощунственная рифма...
                                        Черта с два!
Давно претит безвкусица кощунства.

Синеющий в сочельник Рождества,
он кажется то образом, то словом.
Там ангелов блестящая плотва
в зеленом, белом, розовом, лиловом.

Аквариум — в зеленом, золотом,
лиловом, розовом, блестящем, белом.
К стеклу прижаться лбом, глазами, ртом
и к слову, становящемуся делом,

приблизиться.
                        К стеклу всплывают лбы,
глядят глаза, подрагивает веко,
возможно, выделяя из толпы
стоящего так близко человека.

* * *

Жизнь подносила огромные дули
с наваром.
Вот ты доехал до Ultima Thule
со своим самоваром.

Щепочки, точечки, все торопливое
(взятое в скобку) —
все, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.

Сизо-прозрачный, приятный, отеческий
вьется.
Льется горячее, очень горячее
льется.

ЧАСТУШКИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ

Вот лопата для копания,
вот невесть зачем слова.
Эта зимняя кампания
меня с ума свела.

Снег рождается, чтоб падать,
в небе грош ему цена.
А у меня есть только память
и то, в чем роется она.

Вот компания какая —
ты да я, да мы с тобой.
Ни девицы, ни водицы,
ни улицы мостовой.

Охотник бегает, стреляя,
да зайца Бог оборонил.
Я шел, следов не оставляя,
и корзинку обронил.

В этой маленькой корзинке
бумажки, баночка чернил,
чужие песенки, картинки
и то, что сам я сочинил.

Подходите, дяди, тети.
Джентльмены, не отпихивайте дам.
Что хотите, то берите.
Душу, мысли, коль найдете.
Вот только рифмы не отдам.

* * *

Поэт есть перегной, в нем мертвые слова
сочатся, лопаясь, то щелочно, то кисло,
звук избавляется от смысла, а
аз, буки и т. д. обнажены, как числа,

улыбка тленная уста его свела,
и мысль последняя, как корешок, повисла.
Потом личинка лярвочку прогрызла,
бактерия дите произвела.

Поэт есть перегной.
В нем все пути зерна,
то дождик мочит их, то солнце прогревает.

Потом идет зима,
и белой пеленой
пустое поле покрывает.

ПОЧЕРК

Треть пропить-прокутить,
треть в кулак просвистеть,
треть оставить сыночку и дочке.
Неприятно на собственный почерк смотреть,
на простывшие эти следочки.

Погулять погулял,
покутить покутил,
наследил карандашиком серым.
Сам не знаешь, как в эту дыру угодил
и каким это вышло манером.

Ни бумаги не надо,
ни карандаша,
только б сыпало инеем с веток,
да посвистывая б, погуляла душа,
погуляла б душа напоследок.

БАСНЯ

Один филолог
взбесился и вообразил, что он биолог,
стал изучать язык дубов и елок.
«И корни, и кора, и прочее мочало —
что б это означало?»
Природе ставил он любое лыко в строку.
Не проходило и денька,
чтоб на жаргоне ДНК
он бы не пробовал интервьюировать сороку,
ромашку иль гниющее бревно.
Природе было все равно.
Она могла мычать, могла молчать,
как будто нечего ей было означать,
как будто ей, природе, все равно —
поете вы ее иль на нее плюете.
Природа, как часы, заведена.

* * *

Мораль? Ах, да, мораль. Да ведь она,
как и грамматика, отсутствует в природе.

НЕБЫЛИЦА БЕЗ ЛИЦА

Под косыми лучами расклеился лист.
Под ногами скрипит августовский снежок.
Вот шагает, дурное затеяв,
хватанувши для храбрости на посошок,
удалой террорист, молодой нигилист,
столбовой дворянин из евреев.

На дому СОВЕРШАЕМ ТОРГОВУЮ КАЗНЬ.

*

ПОСТАВЛЯЕТСЯ *в розницу* МЕЛКАЯ РОЗНЬ.

*

ЧУТЬ *подержанная* КУХАРКА.

Хрипло лают себе из-под пса ворота.
Проезжает деревня околь мужика,
не оглядывается, нахалка.

Деревянная ложка плывет мимо рта.
Из Каспийского моря вытекает река,
напускает такого туману,
что достанешь тетрадь — не видать ни черта.
Мы едва разбираем свои почерка.
Где уж это понять басурману!

* * *

Разбужен неожиданной тишиной,
белым внезапным с неба даяньем.
Отвергаю с негодованьем,
нет, с равнодушием, ужас ночной.

Вертикально вниз среди разветвлений
разных растений, растущих в саду,
сходит к нам Бог атмосферных явлений,
чтобы развеять нашу беду.

ЗЕМЛЯ

Стелле

Весь этот шарик, Стелла,
есть голова без тела.

На лоб надвинув кепку льда,
несется он невесть куда.

Вглядимся в глаз его мазут:
как слезы, корабли ползут.

Вглядимся в скул концлагеря.
«Смерть вырвала из наших ря...»

Чей это шепот-полусвист,
дыханье хладное зимы?

«Смерть выр...», как будто зубы мы,
как будто смерть — дантист.

* * *

Декабрьские дикие сны.
Ночи с особым режимом.
Не я, а рельефная карта страны
лежит на матрасе пружинном.

Из мелкой подушки мой питер торчит —
и надо же этак разлечься! —
то чешется вильнюс, то киев бурчит,
то крым подбивает развлечься.

Но слева болит, там, где кама течет,
в холодной пермяцкой подмышке,
где медленно капает время в зачет
несчастному Мейлаху Мишке.

КИНО

Обливаясь потом и сопя,
досидеть до конца сеанса
и наконец увидеть самого себя
сквозь темное стекло, еще неясно.

А

Вот он в саду, вот на коне, вот он
прикрикнул, и враги его исчезли,
порядок в государстве наведен,
вот он сидит непринужденно в кресле,
вот он, сей элегантности арбитр,
снимает мантию, откладывает скипетр
становится за новенький пюпитр
и думает, и перышком скрипит.

В

Порядок в государстве наведен,
но оборванца грубый кашель выдал,
таких, как он, вышвыривают вон,
но стражник сделал вид, что не увидел
вот на него тяжелый снег валит,
он голоден, он скрючен, он завшивел,
вот он плетется, гнойный инвалид,
и смотрит, и губами шевелит.

ПИСЬМО

Никто не приносил письмо.
Оно пришло сюда само.
На штампе мерзость, муть и мрак.
На марке ядовитый злак.
Был адрес непристойно груб,
и клей припахивал, как труп.

Бесстыдно сбросив свой наряд,
подгнивших строк ощеря ряд,
в витиеватой волосне
оно придвинулось ко мне.

Я повалил его рукой,
оно задрыгало строкой,
и подпись где-то на краю
хрипела: «Я тебя уью».

Чтоб не прочесть, я снял очки.
Я разорвал его в клочки.
Предупредил жену: «Не тронь».
Потом пошел, развел огонь.
И корчилось оно в огне.
И искры прыгали ко мне,
и жглись, визжа: «Ваш ис-крен-не...
Ваш ис-крен-не... Ваш ис-крен-не...»

ОДНОМУ РАСТЕНИЮ

Слишком витиевато и длинно,
мельтешит, неудобно для глаз.
Что-то слишком растительность, Нина,
распустилась в гостиной у нас.

Зелень вьющуюся, кривую,
торжествующую, кум королю,
я терплю ее, сосуществую,
не воюю я с ней, но люблю

толстомясое злое алоэ,
что колючками в воздух впилось.
Так и надо. Расти, удалое!
Протыкай этот воздух насквозь.

По-солдатски, мол, радо стараться,
грудь на бруствер — и враз вылезай.
Ты — хирург. Оперируй пространство,
пустоту из него вырезай.

Запускай колючки
в душу мою.
Я тебя с получки
коньяком полью.

Памяти Сергея Кулле
(1936–1984)

1. Смерть

«Министерство финансов объединить с морским,
казначейство переедет в Адмиралтейство,
в освободившемся здании учредить девиц...»

Роза Эльзаса, последний росток обрусевшего рода,
исчезнувшего одновременно с переименованием
Итальянской в улицу Ракова,
пока он засыпает в объятиях морфина,
репродуктор наяривает Четвертый этюд Метастазио

или это в мозгу расскрипелся последний Ойстрах,
или сосны скрипят на злокачественном песке Песочной,
или подъемные краны?

Онкологический городок
напухает новыми корпусами,
недоброкачественно возводимыми
методом народной стройки.

2. Шансонетка

По Невскому гуляла
прелестная Катрин.
Так что же в самом деле
ее мы не кадрим?

Чего стоим на месте,
не видим, дураки,
сквозь платье кружевное
виднеются шнурки.

А мы глядим на серый
за Мойкою фасад,
там весело нам было
лет двадцать пять назад.

Вот музыкой торгует
высокий магазин,
улыбки возбуждая
у дам и у мужчин,

мелодийка-поземка
взвивается, сквозя,
и кое-что другое,
о чем сказать нельзя.

УЛЬТИМАТУМ

Не знаю ваших Плешек, Пресен,
тем паче Юг неинтересен
(шаланды полная кефаль),
Сибири вовсе мне не жаль.

Мне жалко Северной Столицы.
Здесь, посредине заграницы,
сижу, зубами скрежеща,
как Надсон, высланный на ща.

Моих стихов узор чугунный,
прозрачный сумрак, блеск безлунный —
все это вроде ничего,
но не заменит ничего.

Нет, я путем переговоров
или, смирив свой мирный норов,
пошлю воинственную рать,
чтоб это дело отобрать.

Вам-то зачем Окно в Европу —
чтоб выставлять оттуда попу
и тем Европу забавлять?
Европе, право, наплевать.

Отдайте мне мое окошко!
Запрыгну на него, как кошка,
вальяжно лягу на карниз,
усы и брови свешу вниз,

увижу: люди на добычу
выходят, голос различу
и, может, что-то промурлычу,
а, может, лучше промолчу.

В ГРОССБУХ

Я по природе из тетерь.
Не перечесть моих потерь —
стихов, приятелей, ключей,
в дымину пропитых ночей;
то телефонный разговор
похитит полчаса, как вор,
то дети как-то без затей
вдруг выросли — и нет детей.
Я давеча, страшась сумы,
у дара своего взаймы
решил спросить. Какой удар!
Мне отказал мой дивный дар.
И ты, Брут! Так сказать, et tu!
И ты показываешь тыл?
А Муза Памяти? Тю-тю,
ее давно и след простыл.
А Муза Разума? Она
сама в себе отражена
и не дает, зараза, в долг.
Мой лучший друг, Тамбовский Волк,
мотает серой головой:
я, дескать, сам пустой, хоть вой.
Давно уж Музы ни гу-гу,
давно уже сидит в мозгу
бухгалтер, а точней — чекист.
Командует взять чистый лист,
число поставить, месяц, год
и записать: в расход.

ГОСТИ

1

Как солнечен день в ожиданье гостей!
Приедут вот-вот, привезут новостей,
с гостинцами пухлые сумки,
и общий огонь нас прожжет до костей,
когда опрокинем по рюмке.

И наш разговор с убыстреньем пойдет,
как мельницы Шуберта водоворот,
все-все в себя вовлекая,
и недруг вдали непременно помрёт,
икая, икая, икая.

2

Была унесена посуда.
Была продолжена беседа.
И шла, и шла, и шла, покуда
не подошла пора обеда.

Была принесена посуда.
Беседа. Стук ножей и вилок.
Ах, жизнь по сути только сумма
таких минут неуловимых.

3

«А, может, еще, на посошок?»
«Да нет, нам пора в дорогу.
А ты бы, что ли, лампу зажег,
зажег бы ее, ей богу».

Простыл на снегу протектора след.
Я посуду вымыл и вытер.
А свет — для чего мне включать этот свет,
чего я при нем не видел?

ОБ ОБУВИ

И...! Брось свои котурны!
К чему они, е… …ь?
Ведь мы не так уж некультурны,
чтоб просто так не понимать.

Зачем Урания, Августа —
чтоб в трепете зашелся жлоб?
А вот название «Капуста»
для лирики не подошло б?

Но нет, И... не внимает,
он из кармана вынимает
опять латинский лексикон.
Его влекут богини, боги.
И прячем мы босые ноги,
хоть любим шлепать босиком.

ПОЛЕМИКА

Нет, лишь случайные черты
прекрасны в этом страшном мире,
где конвоиры скалят рты
и ставят нас на все четыре.

Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока.

НЕ БЕЗ КОНЦА ЖЕ

Светлейший выкатил бельмо:
«Bon mot in deutsch? Man sagt *der mot!»*
И он захохотал светлейше.
А на стене —

борец сумо
живот показывает гейше.
Японка понимает шутку
и снисходительно свистит
в свою бамбуковую дудку,
а на стене у них висит
раскрашенная гравюрка

то ли еврей, то ль рыжий турка
с голландкой розово-свиною.
Он тщится ей офорт продать.
Офорт —

повернут к нам спиною,
и что на нем, нам не видать.

ФИГУРЫ ПЕТЕРБУРГА

Идиллия

Милая идиотка, Анестезия Всхлиповна,
подкиньте в камин деньжонок, а то что-то стало
холодать, что-то руки, ноги
стали зябнуть, не
послать ли за бутылкой
гонца? Только кто отважный, с душою
пылкой, рожденной в подполье,
большою, решится
в такую пору?
. . . .
Князь! Вы так благородны!
Только не поскользнитесь — темен
подъезд и загажен кошкой!
Только не захлебнитесь, переплывая Большую
Невку! Только не попадитесь разбойникам Малой
Охты! Пошаливают на Охте.
Невка в бурливой пене.
Когти поганая кошка о мраморные
ступени точит.
. . . .
Слева вернувшийся Мышкин.
Кошкин дождавшийся справа.
Между друзьями Всхлиповна сумеречно сияет.
(Красою сияет Всхлиповна между врагами.)
Втроем они составляют
равнобедренный треугольник.
В центре стоит бутылка.
На 60 %
наполнена невской водою.

III

ЛЕВЛОСЕВ

Левлосев не поэт, не кифаред.
Он маринист, он велимировед,
бродскист в очках и с реденькой бородкой,
он осиполог с сиплой глоткой,
он пахнет водкой,
он порет бред.

Левлосевлосевлосевлосевон-
онононононононон иуда,
он предал Русь, он предает Сион,
он пьет лосьон,
не отличает добра от худа,
он никогда не знает, что откуда,
хоть слышал звон.

Он аннофил, он александроман,
федоролюб, переходя на прозу,
его не станет написать роман,
а там статью по важному вопросу —
держи карман!

Он слышит звон,
как будто кто казнен
там, где солома якобы едома,
но то не колокол, то телефон,
он не подходит, его нет дома.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ
Элегия в трех частях

*

Бог умер.
Ницше.
Ницше умер.
*Бог**.

В уборной стонет сизый голубок.
За дверью 00 (два нуля) хорал воды проточной,
И посетитель беспорточный
средь мрамора сидит, как полубог.

Усвоив шутку с зеркалом внутри,
неспешным оком осмотри
сырые стены мраморной пещеры.
Здесь части тел ведут свою войну,
забыв предохранительные меры,
ужасные в длину и в ширину.

...бог умер ницше: ницше умер бог...
Напухших пушек дула смотрят вбок
поверх бойниц курчавых. Из бойниц же,
раскрытых между ног, как третий глаз,
на нас глядит не Бог, не Ницше,
незнамо что глядит на нас.

* Граффити, часто встречающееся на стенах университетских уборных в США.

* *

Дом, именуемый глаголом — «лгу»,
пустынных волн стоял на берегу
и вдаль глядел. Пред ним неслись «победы»,
троллейбусы, профессоры, народ,
красавицы и наоборот,
и будущие эзоповеды.

За чтенье на картошке «Also sprach...»
ах, некогда мне было там sehr schwach.
Я там узнал, что комсомол неистов,
что, что бы я им там ни плел, козел,
из этих алкашей и онанистов
со мной никто б в разведку не пошел,
что я — змея, побег дурной травы,
что должен быть растоптан и раздавлен.

Но тут примчался папа из Москвы,
просил, и я был, так и быть, оставлен.

Я на допросе препирался с про-
(зачеркнуто) — на зачете с Проппом.
Я думал, сказки — то, се, зло, добро,
а Пропп считал избушку гробом*.

И Пропп был прав, а я не прав. И вот
ко мне избушка повернулась задом.
В разведку не был послан я отрядом,
но поворот мне вышел от ворот,
где забивает целый день козла,
а польт не принимает гардеробщик,
где темная Нева под льдами ропщет
извне добра и зла.

---

* См. В. Я. Пропп «Исторические корни волшебной сказки».

* * *

Университет похмельной лиги.
На железных полках дрыхнут книги.
Перестрелка теннисных мячей.
Все всегда кончается ничьей.

Старички в штанишках сухопары
и старушки (смешанные пары).
Скованный склероз телодвиже-
ний, как пары рифм: две *м,* две *ж*.

Теннисная схватка без ракетки.
Пишущая машинка без каретки.
Пыльное, без форточки окно.
Темновато. Впрочем, не темно.

Прогуляться возле стадиона.
Не студено? Вроде, не студено.
Но нельзя сказать, чтобы тепло.
Два овала вялых на табло.

В ТРАКТИРЕ ПОД МАШИНУ

Б. Парамонову

А у меня ни пуха, ни пера,
и, кроме родины, ничем я не торгую,
но не берут лежалую такую,
им, вишь, не надо этого добра.

На мне не выживают даже вши,
не переносят запах алкоголя,
а мне уж под полсотни, а какое
народу дело: «Лесов, попляши».

Я делаю ногою толстой па,
одно вперед и два назад, как Ленин,
сгибаю с треском старые колени,
и сдержанно хихикает толпа.

На Дерибасовской готовят жидкий супчик,
машина в дырочку проталкивает зубчик,
какой приятный краешек, уступчик,
дрожат огни, шагни туда, голубчик.

Эк, тело, доплясались мы с тобой,
что отчебучиваем за балеты.
Машина заиканьем заболела:
«По мостовой... стовой... стовой... стовой...»

АВТОПОРТРЕТ С РАСТЕНИЕМ

Засим я себя нарисую в укропном венце,
с листочком для крепости черносмородным на нижнем конце.
Я крепкий огурчик. Я даже не сорван пока.
Амурчик над темечком пляшет еще гопака.
Вот свиток развернут, на коем начертан чертог,
где я обучал иноземца читать между строк.
(И было неведомо мне, дураку,
что мой иноземец читать не умеет строку.)
Гляжу на нетолстую пачку оставшихся дней.
Так чем же займемся? Займемся пусканьем корней.
Растенье в цветочках? Растенье, ушедшее в плеть?
На цветоплетенье почти неприлично глядеть!
Запустим-ка корни в подзол иностранной земли,
чтоб шар этот черный они бы насквозь проросли,
чтоб вылезли, если не клейким листочком в земле земляков,
хоть тощим росточком
средь трещин асфальта, окурков, обрывков, плевков.

* * *

Останься пеной семиозис.
Мысль изреченная есть что-с?
Вам все игрушки, все смеетесь,
как бы вам плакать не пришлось.
(De la musique avant toutes choses —
мысль изреченная есть что-с?)

Вот телефона белый ужас,
вот трубки белый унитаз.
Лицо, побагровев, натужась,
выдавливает пару фраз:
одно корявое словечко,
одно прямое, точно свечка,
два-три овечьих катышка
бесчеловечного смешка.

СЛОВА ДЛЯ РОМАНСА «СЛОВА»

Слова, вы прошлогодняя трава:
вас скосишь и опять вы прорастете.
Счета оплачены и музыка права,
и дирижер с бухгалтером в расчете.

Устроим праздник, поедим, попьем,
поделимся осенним впечатленьем,
что расстояние и площадь, и объем
искажены шуршанием и тленьем.

Знать горизонт, почуяв холода,
в тугой клубок свернулся по-кошачьи.
Что делать, не скакать же по-казачьи —
нет лошади да и вообще куда?

Сибирской сталью холод полоснет,
и станет даль багровою и ржавой,
магнитофон заноет Окуджавой
и, как кошачий язычок шершавый,
вдруг душу беззащитную лизнет.

Я складывал слова, как бы дрова:
пить, затопить, купить, камин, собака.
Вот так слова и поперек слова.
Но почему ж так холодно однако?

ИЗБА

Если уж очень нужно тепла,
кажется, черту душу продашь,
Канта отточенный карандаш
нам нарисует четыре угла.

С холода вдруг да привыкнуть к теплу
трудно, но Федор Михалыч допер:
повесил икону в красном углу,
в не менее красном поставил топор.

Печка да свечка да пол с потолком.
Кто-то снаружи летит мотыльком,
кто-то разглядывает сквозь стекло
наш незначительный свет и тепло.

ПРИСТАНЬ

«Возможно ли не веровать в бессмертие души,
но все же слушать ангелов, посланников Господних?»

Ждет отправленья пароход, а я стою на сходнях
и подо мной мелка вода и шумны камыши,
и незнакомый бережок передо мной в тиши.

«Ведь я могу сказать „ревю“, могу сказать „еврю“,
так почему же я одно никак не говорю?»

Две рюмочки волнуют кровь, но не открыться рту.
Ах, жаль друзей и багажа, что остаются на борту.

На берегу туман, трава,
туман и тишина, тропа,
туман и все-таки тропа свое не прекращает гнуть.
Пора куда-нибудь шагнуть —
уже трубит труба.

* * *

Угоден ли Богу писуля
из тех, кто мусолит кивот,
кто имя запретное всуе
в слюнявые строчки сует?

Угоден ли раж неофита,
хвалы рыхловатой халва?
...А вот у тебя недопито
с утра, и трещит голова,

и что-то клещами зажало,
зажало клещами в груди.
«Смерть, смертушка, где твое жало?»
«Где жало? А вот — погляди».

Угоден ли Богу агностик,
который не знает никак —
пальто ли повесить на гвоздик
иль толстого тела тюфяк?

* * *

Памяти А. А. Тарковского

Стерва ворона закаркала,
не удержалась, трепло.
Публика с берега зыркала.
Нерукотворное зеркало
к нам по реке приплыло.

Вот ведь какое сокровище.
Что же, помолимся, прах,
перед свечой несгорающей,
глядя на строгий стареющий
лик в близоруких очках.

ТУАЛЕТ

На подзеркальнике мерцали цацки —
нецке, цепочки, выцинанки, кольца, яйца,
снесенные под пасху Фаберже,
а возле дымно-розовых флаконов
венецианских, датской голубой
свиньи вся в инкрустации шкатулка
персидская, хранилище квитанций
за газ, за телефон, за свет, рецептов
на остро-дефицитный стрептоцид,
на красном дереве в прожогах от щипцов
пороша розовато-жирной пудры,
а золотой цилиндрик ярко-красным
пятном отметил голубой конверт,
где вместо марки черный-черный штамп:
ПРОВЕРЕНО ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ —
ЙОРУЗНЕЦ ЙОННЕОВ ОНЕРЕВОРП,
поскольку розовое, голубое,
персидско-датское, щипцы и стрептоцид,
все это пробиралось в зазеркалье,
где и мерцал в венецианском дыме,
беззвучно квохча, Фаберже — он снес
цепочку или нецке иль кольцо?
рецепт на телефон иль веронал?
иль это галицийская безделка?
. . . .
. . . .
над этим миром жило не лицо,
а черная бумажная тарелка,
играющая «Интернационал».

1945

1. В городе

Колесница Аполлона
и коринфский завиток,
и еще неопыленно
на пчелу глядит цветок.
Триумфаторы в колоннах
маршируют на восток,
и в коленках оголенных
восхищенья холодок.
Победитель над Европой
на хоругви с Ильичом,
а рябой и черножопый
в нем еще не уличен.
Но узнает вся Европа
свою страшную судьбу,
красный ангел агитпропа
дунет в длинную трубу.
Пусть весельем Запад занят,
снова волею Москвы
с наших стен летят на запад
гидры, гении и львы.
На рассвете леденеет
бронзовый полугрузин,
злая тень его длиннеет,
медный конь под ним бледнеет.
Зри! он пальцем погрозил.

2. В лагере

Взгляд по-грузински тяжел:
«Лифшиц, стань перед строем
и расскажи, как дошел
ты до жизни такой». (Ужо им!)
«Первый отряд на пропол-
ку, остальные на встречу с героем».
Волей-неволей-бол
перед отбоем.

Сон, перерезанный в шесть
горном. Подъем. Зарядка.
Рукомойни громкая жесть.
В уборной страшная ватка.
Кинофильм «Пионерская честь».
Полдник. Булочка. Сладко.
Что-то кровавое есть
в слове «кроватка».

ПЕЧКА

Когда они пришли покончить с ней,
вооруженные железными вещами,
никто не заступился. Только я,
вооруженный жадным любопытством,
пришел глядеть. Я видел первый страшный
и в сущности решающий удар
кувалды. Хруст. Тяжелое дыханье.
Взметнулась пыль, как седенькая кичка
над надвое расколотой башкой,
и с прозеленью медные глаза
взглянули на меня со дна, с поддона,
из бездны, что всегда под нашим дном.

3 копейки. Орел

Орел глядит на Запад и Восток.
Орлиный зрак пустынен и жесток.
Там поднимается проклятьем заклейменный.
Там занимается закат лимонный.
Посередине Александр Блок.
Орел глядит вовсю. Знать, только медь
умеет так медлительно глядеть.
Орел глядит, как не умеем мы,
хотя есть и у нас четыре глаза,
на наступленье временного класса,
на наступленье тьмы.

3 копейки. Решка

Два завитка кудрявой цифры 3
не тривиальны, что ни говори,
и буква ять, след от копья в копейке,
стоит с крестом, в монашеской скуфейке,
с кузминскою улыбочкой внутри.
Стоит или сидит? Знать, только ять
умеет так сидеть или стоять.
Ять полустерт, как-будто знает он,
что со своей природою двойною
он устарел, что новою войною
он будет отменен.

Печник, печник! ты в основанье печки
монетки кинул просто так, на счастье,
не думал ты, что на свои алтыны
сумеешь столько вечности купить.
Их тихий звон внушает ликованье,
подобно неразменному рублю
они всегда звенят в моем кармане.
Я многое на них еще куплю.

Баня

...где душа?
Или только порошок
Остается после смерти?
Н. Заболоцкий

Есть душа — она не пар,
Оттого и жалко...
Вл. Лифшиц

Из мыльни в предбанник

Из тепла только банное помню тепло,
из стекла только зимнее помню стекло —
посинело оно, запотело.
Помню грохот и хохот и русский народ,
да мочалкой над шайкою кто-нибудь трет
всей страны одичалое тело.
Там обрубок культуры повис, как культя.
Инвалиды ввалились в предбанник галдя,
друг о дружку трутся рубцами.
Тот с осколочной раной, а тот с ножевой,
и такой, видно, пьяны водой неживой,
что ее не заесть огурцами.

Надпись на стене

Нынче мылся в этой бане пехотинец —
ветеран, награжденный орденами,
*Подопригора Иван!**

* Из повести Вл. Лифшица «Петроградская сторона».

Банщик

У него не много ног,
у него всего одна,
он читает «Огонек»,
сидя у окна.

Кабинет директора бани

Товарищ Сталин в двух блестящих сапогах,
товарищ Стулин на четырех ногах,
товарищ Столин на своих дубовых,
заслушав сообщенье
товарищ Радио о том, что хороши
весной в саду цветочки, постановили:
не выключать. Следующий вопрос:
Москва–Пекин и где директор бани?
Директор бани вызван в горкомхоз.

Парилка

Поддавай, поддавай, кочегар!
А ведь я и не знал до сих пор,
что душа — действительно пар,
и она уходит из пор,
ускользнет — только дверь отопри,
в фортку облачком — был таков.
Вознесешь меня? Вознесу.
Плыть среди других облаков
над собой, что шагает внизу
с пузырями пивными внутри.

ОДА НА 1937 ГОД

I

Какого-то забытого... Ах, что ты,
какого-то известного числа
был день рожденья новой ноты —
она вдруг народилась и росла,
и выбивалась из мотивчика,
как Горький в люди, как грудь из лифчика,
как гордый чуб на запорожский лоб;
то ль вычесал ее Пикассо из гитары,
то ль завезли ее на Русь татары,
то ль мальчик по стеклу ножом проскреб.

II

Идет июнь, как рекрут в сельсовет.
Стоит террор, как солнце над Союзом.
Лежит зародыш в виде запятой.
Уже пошла девица за водой,
а азбука раззявилась арбузом,
уже Крылов настроил свой квартет.
Идет июнь с гармошкой в сельсовет.
Летают стратонавты над Союзом,
над женщиной с ее огромным пузом,
трамвая ждущей, а его все нет.

III

Отполирован к празднику гранит,
спит сад в своих чугунных папильотках,

в Египте карабинных пирамид
восходят ночью звезды на пилотках
и медные посереди ремня,
в столице стены древнего кремля
подкрашивает утро нежным светом —
так мама марганцовочкой кропит
опрелость. Огорченный туалетом
сын человеческий ревет ревмя.

IV

Угас Якир и Блюхер наш потух,
за Тухачевским рухнул Уборевич.
Клюется в жопу жареный петух.
Бо-бо, но ничего, переболеешь.
Зачем летишь ты, тополиный пух —
листовок всех ты не перебелеешь:
челюскинцы! из челюстей! зимы!
удалены по одному, как зубы...
Звезда Бессмыслицы дает взаймы,
но только незначительные суммы.

V

«Что ж, будем петь, пуская петуха,
поменьше пить, потешничать потише»
так думал Даниил Иваныч Х.
А рядом Михаил Михалыч З.
ел бутерброд, прихлебывал розе
и думал: «Это надо же, поди же,
не заросла народная тропа,
напротив, ежедневно прет толпа
играть и жрать у гробового входа».
(Уходит, не докушав бутерброда.)

VI

Сто лет назад от выстрела в живот
скончался в корчах Александр Пушкин —
вот почему народ навеселе.
Но почему нам подают телегу?
Но почему нас дудочка зовет?
Но почему, презревши сон и негу,
по матушке лошадку кроя,
летишь, как первый парень на селе,
откликнуться на голос русской крови
своей седьмой водой на киселе?

VII

На холмы Грузии легла ночная мгла,
Бессмыслицы Звезда себя зажгла,
и вот что выясняется дотла:
поэзия есть базис и надстройка —
поет как флейта и скрипит как койка,
она летает над самой собой,
как над погромной кровью пух перинный,
как МИГи над Курильскою грядой,
как дух в ЦПКО над резедой,
как в ЦДЛ душок над осетриной.

VIII

Ну и июнь! Как рекрут в сельсовет,
младенец вваливается в белый свет,
он видит: со стальной груди балтфлота
татуировка заявляет в шутку,
что *счастья в жизни нет,*
растение, похожее на дудку,
«Турецкий марш» со своего ж листа
уже дудит. Но что это? Минутку.
Та нота новая — ты та или не та?
Да, да, ты та, ты та, ты эта нота!

IX

Ты та. Так значит, все же, проросла,
не извели врачи и душегубы,
имея день рожденья без числа,
звуча, но не имея места в гамме,
по отношенью к дому кверх ногами,
по эту сторону добра и зла,
водя ножом по мутному стеклу
и об него ж расплюща нос и губы —
ба! барабан! чу! уж не трубы ль? трубы!
Труба и барабан сквозь гул и мглу.

X

. . . .
. . . .
. . . .
... навстречу нам стоят ряды колонн,
день синь и солнечен, и нежно оголен
цветок жасмина, из-за поворота
на нас шагает золотая рота —
мундир! не лыком! шит!
Над золотым рожком серебряная нота
взлетает и кружит.

«POETRY MAKES NOTHING HAPPEN»

Белле Ахмадулиной

«...но выживает». Это о стихах.
Мы перевод с подстрочником сличали.
Но как перевести то, что в начале:
«Стихи не причиняют ничего»?

Был вечер. Рейн болтал о пустяках.
Была весна. Я был юнец. Печали
не омрачали душу и чело.

Я притащил в Москву магнитофон,
но, видно, зря я пленкой запасался,
не там Ваш слабый голос записался,
его иной притягивал магнит.
В пути, в больнице, много раз потом
я все за эту запись опасался,
все проверял — хранит ее? Хранит.

Как кружевом обводят пустоту,
как плотный воздух наполняет парус,
как наполняет слух молчанье пауз,
так действует и Ваше ремесло.
И я читаю, нет, точнее, чту
ничто и вспоминаю, улыбаясь,
как тридцать лет назад мне повезло.

10 апреля 1987 года

* * *

Что было стекл зеленоватых,
цыганских слез солоноватых,
шампанских брызг!
Похмельных утр в скуленьях сучьих —
в окне и в сердце в черных сучьях
стыл обелиск.

О юность! как твой опыт узок.
Уж не вернуть любвей и музык,
заезжен диск,
зеленый змий бумажным змеем
стал, да и мы уж не сумеем
напиться вдрызг.

* * *

«Извини, что украла», — говорю я воровке;
«Обязуюсь не говорить о веревке», —
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая проблядь
Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.
Я молчу.

Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овес,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.

NATÜRLICH

Утомленный то скукой, то злостью,
я на солнце улегся пластом,
упираясь затылочной костью
в Велемира увесистый том.

Совершали букашки набеги,
было жарко и болконскиймо,
и тогда мне кузнечик на веки
положил золотое письмо.

Притяжение текста и текста,
их стремление слиться в одно
гонит токи сквозь вязкое тесто,
и вспухает, и бродит оно.

* * *

Вот полунаписанный холст художника полуслепого.
Отлично прописан прохвост, приникший к бокалу халтуры,
предметы культуры, фигуры над грудами макулатуры,
румяная башня, часы, на часах полседьмого.

Но свет ему кто-то затмил, и стал он в движеньях неловок.
К тому ж не хватало белил, кармина, лазури, и в центре
картины не то полубог верхом на осле, не то черти и
осел, человек без сапог... Неясный такой подмалевок.

Но, все-таки, как удалась ему кровь на белой груди и девица,
как птица летящая за пределы холста!
Как тепла нагота Маргариты! Как жаль, что образ Христа
неясен и как-то двоится.

* * *

Предназначение? непруха?
Чуть вышел — мне навстречу черт —
его курчавое, из шорт
вываливающееся пивное брюхо.

Врач? Критик? Журналист? Завскладом?
И страшно мне теперь вдвойне
за то, что видит он во мне
своим прицениваюшимся взглядом

гипнотизера? звездочета?
(приказ: «Смотрите на предмет
блестящий!» Горсточку монет?
минут? побрякивающего чего-то?)

* * *

Свечи. Светлый хор глубинный.
Свет мерцает сквозь толпу.
Чертят кровью голубиной
крест у мальчика на лбу.

Чача капает из трубки.
Чавкает грязца с кровцой.
Над углем шипят обрубки
мяса, бывшего овцой.

Армянин хохочет плача,
и к подножию Творца
притекают кровь и чача,
мальчик, голубь и овца.

31 ОКТЯБРЯ 1958 ГОДА

Сон вызвал острую теку.
Мартынов

Только вот потом бывает тошно...
Слуцкий

Операция продолжалась не более минуты.
Леонид Николаевич и Борис Абрамович
трусят по улице Воровского,
не испытывая ни боли,
ни стыда,
ни сожаления при виде стайки
муз, рыдая удаляющихся за здание МИДа.

Впереди еще будет много лет,
зим, весен, загранпоездок,
переводы с восточноевропейского,
избранное, смерть, комиссия по лит. наследству.

Место между адом и раем
мне представляется огромным вокзалом.
Там они ночуют (но не спят) на твердых скамейках,
толкутся у буфета (буфетчица ушла на минутку),
глазеют на припадочного, бьющегося под табличкой
«Купленные билеты назад не принимаются
и не обмениваются»,
караулят свою очередь,
неподвижную между грязных колонн,
как поджатый хвост.

Если кто знает настоящие молитвы,
помолитесь за них.

* * *

Начало было медленно и странно.
Курил, помалкивал и наливал вино.
Но глянула луна в окно, и Анна
испуганно взглянула на него.

Ее лицо к его лицу прижато.
Глаза закрыты. Губы горячи.
Им чудится, что за окном, в ночи,
брат на убийство подбивает брата.

АПРЕЛЬ 1950

Вижу: вот он идет с медосмотра
с дифтерийной прививкой в плече,
и ребенка жидовская морда
розовеет и жмурится в нежном апрельском луче.

Как известно, в периоды Ирода дети
улыбаются сами себе.
Поднимается жар. Зажигается свет в кабинете.
Корифей дифтерита в сапогах зашагал по судьбе.

Он уже выбирает из русского списка комочки еврейских фамилий.
Он в ночи-сортировочной составляет товарные поезда.
Но зачем прививается славянская тяжесть крылий?
Ах, зачем нам ширококрылость тогда?

Как слезу не сглотнуть в этом первом полете,
если сверху не то, что виднее — родней
трубы, крыши да в воробьином помете
триумфальные спины коней.

ВОЛХОНКА

Полный гула пар,
купальщиков скопище
там, где идолище себе капище
построить планировало.

Манят сиреневые пруды Моне
розовых ню Ренуара
там, где идол складывал дань:
рушники, сервизы, радиоприемники.

Покинутый Пастернаком квартал,
мой московский pied-à-terre,
мой детский pied-à-terreur.

Цитата — цикада.
Мандельштам

1

Мышек не слишком проворные тушки
мешкают в жухлой траве.
Остов оржавевшей раскладушки
на заглохшей тропе.
Крепкое, вьющееся продето
сквозь бесхозный скелет.
Господи! за какое-то лето,
за какие-то несколько лет
узловатое виноградное вервие
все успевает увить.
Маленький ястреб сидит на дереве,
смотрит, кого бы убить.

2

Превращенье зеленого в желтое,
застывать на твоем рубеже,
как усталый Толстой пришёптывая:
е. б. ж., е. б. ж., е. б. ж.
Небожитель следит внимательно
голубым холодным зрачком,
как стоит и бормочет матерно
мальчик, сделавшийся старичком.

3

Озябший, рассеянный, почти без просыпа
пивший, но протрезвевший, охватывай
взглядом пространство имени Осипа
Мандельштама и Анны Ахматовой.
Отхвати себе синевы ломоть
да ступай себе свою чушь молоть
с кристаллической солью цитат, цитат
да с надеждой, что все тебе простят.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

HOMO LUDENS

I read the Bible for the first time when
I was twenty-three.
It leaves me somewhat shepherdless, you see.
Joseph Brodsky

После изгнания из Рая
Человек живет играя.

Он видит за вратами райской кущи,
как ключ знакомится с замком,
и веселится еще пуще.
Ну, как не щелкнуть языком!
Как на подругу не взглянуть,
заставив покраснеть чуть-чуть.

«...над водами. Земля же
была безвидна и пуста».

В вышеописанном пейзаже
родные узнаю места,
их уроженца, доброго и злого
(слезой кристален, калом бур),
итак, в начале было Слово,
в конце выходит каламбур.

В начале был он создан Богом,
но вышел плохо, вышел боком,

* Это стихотворение было исключено автором из состава «Тайного советника» при подготовке книги «Собранное: Стихи. Проза» (Екатеринбург: У-Фактория, 2000).

кустарно вышел, как корзинка,
мочалка, веник, решето.
Прочтя на корешке: Huizinga,
орет: «Что — Зинка? Зинка — что?»

Однажды, точно искру в саже,
Бог различит его в пейзаже.
А это кто там, схожий с крабом?
Почти раздавлен жизни скарбом,
а норовит все трепака.
Нет, вы видали дурака?

Новые сведения о Карле и Кларе

1987–1996



Памяти Юрия Леонидовича Михайлова

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

Кораллы
украв у Клары, скрылся, сбрив усы,
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал шубу и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть, и нашептаться довелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор за печь забросил.

Кларнет
украв у Карла как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою раскрывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел, и ничего
не падало в коралловое лоно.

Mein Gott!
Вот густо-розовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок à la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!

СОНЕТ В САМОЛЕТЕ

Отдельный страх, помноженный на сто.
Ревут турбины. Нежно пахнет рвота.
Бог знает что... Уж Он-то знает, чтó
набито ночью в бочку самолета.

Места заполнены, как карточки лото,
и каждый пассажир похож на что-то,
вернее, ни на что — без коверкота
все как начинка собственных пальто.

Яко пророк провидех и писах,
явились знáмения в небесах.
Пока мы баиньки в вонючем полумраке,

летают боинги, как мусорные баки,
и облака грызутся, как собаки
на свалке, где кругом страх, страх, страх, страх.

XVIII ВЕК

Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг почуял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все сработано грубо, простым топором.
Накорябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, душу скребущий.

УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ

Вручи мне Ювеналов бич!
Пушкин

Над белой бумагой потея,
перо изгрызая на треть,
все мучаясь, как бы Фаддея
еще побольнее поддеть:
«Жена у тебя потаскушка,
и хуже ты даже жида...»

Фаддею и слушать-то скучно,
с Фаддея что с гуся вода.
Фаддей Венедиктыч Булгарин
съел гуся, что дивно изжарен,
засим накропал без затей
статью «О прекрасном» Фаддей,
на чижика в клеточке дунул,
в уборной слегка повонял,
а там заодно и обдумал
он твой некролог, Ювенал.

КРОВЬ

> Кто Кавказский хребет перевалит служить,
> Быть тому с той поры дворянином.
>
> *Случевский*

Ходу тебе, продвижения нет
в мире равнинном.
Перевалил за Кавказский хребет —
стал дворянином.

Как хорошо государь рассудил:
боец не грубеет.
Ежели крови своей не щадил,
кровь голубеет.

Стали бойцы за суровый поход
сталью из жести.
Входит война в генетический код
кодексом чести.

Битвы в горах распрямили твой взгляд,
рабское выжгли
(только вот жаль, что живьем из засад
все-то не вышли).

День посчитали нам за три денька
правильно, право,
и для потомства вошла в ДНК
русская слава.

Наша сивуха, пройдя змеевик
Военно-Грузинской,
облагородилась, стала навек
Божьей росинкой.

1988

ОФИЦЕР

> Перед собой кто смерти не видал,
> Тот полного веселья не вкушал.
>
> *Пушкин*

Стихотворствуй по-кавказски —
внахлест, с галопа, на скаку.
Не перечь своей закваске,
не потворствуй языку.

Возвращаясь из похода,
доставай свою тетрадь.
Офицерская порода,
кругом кирилловская рать.

Как казаки на биваке,
они расселись, гомоня.
Что ж вас, буквы на бумаге,
так немного у меня.

Но чуть притронусь к поставцу я,
заулыбаются: добро!
И красуется, гарцуя,
вечное перо.

1988

В ПОМПЕЕ

> Во прахе и крови скользят его колена.
>
> *Лермонтов*

Растут на стадионе маки,
огромные, как пасть собаки,
оскаленная со зла.
Вот как Помпея проросла!

По макам ветер пробегает,
а страх мне спину прогибает,
и, первого святого съев,
я думаю: зачем я Лев?

Я озираюсь воровато,
но мне с арены нет возврата,
и вызывает мой испуг
злорадство в римском господине
    с дурманом черным в середине,
    с кровавым венчиком вокруг.

1988

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Меж топких берегов извилистой реки…
Полонский

Где леса верхушки глядят осовело,
когда опускаешь весло,
где двигалось плавно, но что-то заело,
застряло, ко дну приросло
(сквозь сосны горячее солнце сочилось,
торчали лучи наискось,
но смерклось, исчезло, знать, что-то случилось,
печальное что-то стряслось),
его сквозь себя пропускают колхозы,
пустые поля и дома
уткнуться, где гнутся над омутом лозы,
где в омуте время и тьма.

1988

* * *

Или еще такой сюжет:
я есть, но в то же время нет,
здоровья нет и нет монет,
покоя нет и воли нет,
нет сердца — есть неровный стук
да эти шалости пером,
когда они накатят вдруг,
как на пустой квартал погром,
и, как еврейка казаку,
мозг отдаётся языку,
совокупленье этих двух
взвивает звуков легкий пух,
и бьются язычки огня
вокруг отсутствия меня.

ПОДРАЖАНИЕ

Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.
Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орденок.
За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.
Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.
Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте —
тоже, считай, воровство?
А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.
Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.

РОМАН

Я вложил бы в Роман
мозговые игры былых времен,
в каждой Фразе до блеска натер бы паркет,
в Главах было бы пусто и много зеркал,
а в Прологе сидел бы старый швейцар,
говорил бы мне «барин» и «ваше-ство»,
говорил бы: «Покеда пакета нет».

И пока бы паркет в Абзацах сверкал,
зеркала, не слишком, но рококо,
отражали бы окна, и в каждом окне,
а вернее, в зеркальном отраженье окна,
над застылой рекой поднимался бы пар
и спешили бы люди в солдатском сукне,
за рекой была бы больница видна,
и письмо получалось бы под Рождество.

И Конец от Начала бы был далеко.

PRO DOMO SUA

Деревянный, лубяной
да последний, ледяной,
эй, домишки, как делишки
за железною стеной?

К лесу черному лицом
деревянный дом с крыльцом,
деревянный, с газом, с ванной,
с важной нежитью-жильцом.

К лесу черному спиной
бедный домик лубяной.
Ах, дух щаный, стол дощаный,
поговорки с глубиной!

Мое сердце в ледяном.
Ночью в нем светло как днем.
А убранства — лишь пространство,
холод, свет и метроном.

Ломкий лед галиматьи.
Тонкий звон со дна бадьи.

Выплывают ледяные
Лёшки Лосева ладьи.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Джон в сафьяновы сапожки обут,
У него подбит гвоздями каблук.
Там топочет, что доскам каюк.
А у меня на душе кошки скребут.

Самодеятельность танцует гопак.
Джон и Джейн одеты в красный кумач.
Если тошно, пойди да поплачь.
Я и рад бы — не выходит никак.

Я и сам бы эту душу скрёб, скрёб.
Я бы язву эту в кровь расчесал.
В такт прихлопывает топоту зал,
Точно гвозди загоняет в гроб, в гроб.

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Я говорю: ах, минута! —
т. е. я говорю: М. Н. Т. —
скомканно, скрученно, гнуто
там, в тесноте, в темноте,
в мокрых, натруженных, красных
мышцах (поди перечисль!)
бульканьем, скрипом согласных
обозначается мысль.

Был бы я маг-семиотик,
я отрешился б от них.
Я бы себе самолетик
сделал из гласных одних:
А — как рогулька штурвала,
И — исхитрился, взлетел,
У — унесло, оторвало
от притяжения тел.

Бездны не чаю, но чую:
О — озаряет чело.
Гибелью обозначаю
всё или ничего.

* * *

«Что, плохи наши лекаря?» —
«Нехороши, но в них ли дело…» —
«Что пишешь?» — «Для календаря
пишу, как ты всегда хотела,
чтоб я писал». — «Чтоб ты писал,
чтоб дивный календарь без чисел,
как с ветки лист живой, свисал
и всякий вымысел превысил.
. . . .
Названию *июнь* июнь
неунывающий посвищет,
а на листе *декабрь* декабрь
как дикий зверь по дебрям рыщет,
чтобы бесчисленно чисты
именовались дни недели,
чтоб таяли его листы,
пылали жаром, леденели.
Хронометрировать восход,
заход, предсказывать погоду,

догадываясь, кто дает
советы мне и садоводу».

ПАРИЖСКАЯ НОТА

Он вынул вино из портфеля,
наполнил стакан в тишине.
Над крышами башня Эйфеля
торчала в открытом окне.

Заката багровая кромка
кропила отлив жестяной,
«...vraiment ça finit trop mal», — громко
вдруг **кто-то** сказал за стеной.

Такая случайная фраза
в такие печальные дни
бросает на кухню, где газа
довольно — лишь кран крутани.

ИЗ СЕВЕРНОЙ АНГЛИИ

I

Что вдруг?
Где мои вилы? где вода?
Я омертвил бы буквой звук,
поскольку я всегда имел
желание увидеть мел
скал и такие города,
где люди в каменных домах,
взяв в руки ножик костяной,
читают в кожаных томах
в колонки сложенный петит,
меж тем как дождик, за стеной
лупцующий во весь размах,
стирает тот же алфавит
с крестов и плит.

II

Где англ дробил крестец
кувалдой меровингу,
застылый коровец
глядит на муравьинку,
у местного собеса
рабкласса колготня,
где с помощью огня
из ведьмы гнали беса.

Национальный цвет
английской алой розы,

и на него ответ
английской красной рожи
и водяного взгляда
под кепкой шерстяной
за каменной стеной,
где в виде снегопада
пятиударный ямб
прошелся по Вордсворту,
амбарам, воробьям,
ручью, водовороту;
фитиль давай крошиться
в вечернем огоньке,
и мальчик на одном коньке
пошел кружиться.

ИЗ МАРКА СТРЭНДА*

1. На пустыре

Столь ржав в крапиве старый таз,
что ты зажмуриваешь глаз,
столь рыж.
Ты ежишься внутри плаща,
а с неба дождь ползет, луща
толь крыш
отсутствующих. Сквозь окно,
которого здесь нет давно,
узрим
прямоугольное пятно
там, где висело полотно
«Гольфстрим».
Там шлюпки вздыблена корма,
там двум матросам задарма
конец.
И, если глаз не поднимать,
увидишь: обнимает мать
отец.
Вот он махнул тебе рукой
пустой, неясной, никакой.
Притырь
сворованный у смерти миг.
Дождь капает за воротник.
Пустырь.

---

* В звукосмысловом отношении современная поэзия на английском языке настолько отличается от русской, что я не вижу возможности точного перевода. Так что за этот мой отклик на его замечательные стихи Марк Стрэнд, поэт-лауреат США 1990 года, никакой ответственности не несет.

2. Один день

В дверях он долго шаркает нейлоном
и замечает равнодушным тоном,
что подмораживать как будто начало.
Она, управившись с посудой, подметает,
при этом кажется ей, что припоминает
жизнь, но всегда к полудню понимает,
что вспоминать-то в общем нечего.

Он отпирает лавку ровно в девять.
Давно привыкший ничего не делать,
он в 5.15 дома, как всегда.
Они жуют на ужин бутерброды,
ТВ вещает им прогноз погоды,
прогноз им обещает холода.

Потом пройтись по своему безлюдью,
на встречный ветер опираясь грудью,
они идут, подняв воротники.
А ветер трудится, как прачка над лоханью,
рвет прямо с губ клубочки их дыханья
и прочь уносит, в сторону реки.

3. По белому

Вот лежит белый снег,
белый снег принимая.
Вот идет человек,
белый снег приминая.
Взглядом по небесам
он скользит опустелым,
по прозрачным лесам,
по пустынным пробелам.
Под сугробы легли
бездыханные шлюпки.
Октаэдры легки,
шестигранники хрупки.

Вот идет человек,
белым облачком дышит,
видит он белый снег,
снега паданье слышит,
видит цепи озер
леденелые звенья
и как бел кругозор
за пределами зренья.

САД ПНЕЙ

Обглоданный скелет матроса
обрушен как-то криво, косо,
лет пятьдесят
он в этом трюме пребывает,
в глазницы рыбки проплывают
и вверх глядят.

Фильтруется говно в лагуну,
гниет луна над Гонолулу,
столбы огня
и крови, что здесь вверх летели,
застыли, превратясь в отели,
стоят стоймя.

В доходных этих обелисках,
в их блестках, плесках, брызгах, визгах
жрут, пьют, орут,
там ягодицы смуглых девок
вращаются, там много денег
за все берут.

Черна меж двух столбов промежность
(уж не в такую ли кромешность
шли на таран?).
Там пахнет рыбным рестораном,
и правда, в этом месте странном
есть ресторан.

Японец лапками сухими
формует суши и сашими,

он нас умней,
он капиталец свой утроил,
а для гостей своих устроил
сад пней.

Пни обгорелые на сером
песке стоят таким манером,
что каждый пень
бросает тень тоски, терпенья,
тень тектонического пенья
в последний день.

Ужасный день! И смерть, и слава!
Текла и оплывала лава,
потом сошла.
Она текла и оплывала,
но что-то лава оставляла,
не все сожгла.

То, что не удалось расплавить
и сжечь, мы называем — память.
Присядь, взгляни
без слез, но также без усмешки,
взгляни на эти головешки,
на эти пни.

Уж так заведено под солнцем —
победа нам, а жизнь японцам.
Они живут.
В свою японскую улыбку
они суют сырую рыбку,
засим жуют.

18–20 СЕНТЯБРЯ 1989 ГОДА

В немецком мерзком поезде я ночь провел без сна,
но был утешен тишиной пустого ресторана
в Остенде. Через два часа из синего тумана
потихоньку стала вылезать любезная белизна.
И, не оглянувшись назад, где гальциона вьется,
на берег Альбиона я ступил опять*.
(Живи, как пишешь, говоришь? Но что-то не живется,
а если что и пишется — так, на память записать.)

Заботливый Мак-Миллин нас созвал со всех сторон.
Там были добрый Джерри Смит, дотошный Мартин Дьюхирст,
наш милый Джулиан и др., но все же темы тухлость —
«Россия и Запад» — задала какой-то вялый тон.
Слависты подолгу пили чай с молоком и не без подсластки
перетолков о том, о сем. «А здесь ли Э. Лимонов?»
«Увы, Лимонов прибыть не мог». «А который Аксенов?»
«Вон тот, у которого торчит роман из кожаной пидараски».

Скучали в зале кто как мог слависты всех широт.
М. Розанова сладкий яд привычно расточала.
Но все оживились, когда, вдруг Г. Белая застучала
на Солженицына, да так, что я аж рот
разинул**. А разинувши, как говорится, дал отпор
(уж больно было совестно, хоть и «прожженный циник»).

---

* На Болтон Гарденс, 36, мне серый кот окажет честь, изволив рядышком присесть, и кошка, черная как месть, о брючину потрется.

** «Вернется автор Колеса как некий дирижер, и русопятов голоса сольются в дружный хор. Для нас, евреев, например, страшнее нет угрозы, чем возвращенье в СССР его предвзятой прозы...» Как Енфраншиш, вошедший в раж, несла про дьявольский комплот. Я бы сказал: Чиверафаш — Шафаревич, но наоборот.

Мне одобрительно мигал сидевший сбоку Зиник.
А, может, он просто так мигал — не знаю до сих пор.

Из Блумсбери я шел пешком. Меня несла толпа гуляк.
Лежал мертвец на мостовой — зонт, пиджак, портфель, очки.
Вдоль банков панки — трех полов раскрашенные феечки.
Вверх по Темзе пер прилив с натугой, как бурлак.
Прилив тащил закат, мазут и дохлую плотву.
Он двигал реку, как строку, т. е. слева направо.
Пиши, говоришь, как живешь? Вот и пишу коряво.
Живи, как пишешь, говоришь? Вот и живу.

ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ

Светлане Ельницкой

Река валяет дурака
и бьет баклуши.
Электростанция разрушена. Река
грохочет вроде ткацкого станка,
чуть-чуть поглуше.

Огромная квартира. Виден
сквозь бывшее фабричное окно
осенний парк, реки бурливый сбитень,
а далее кирпично и красно
от сукновален и шерстобитен.

Здесь прежде шерсть прялась,
сукно валялось,
река впрягалась в дело, распрямясь,
прибавочная стоимость бралась
и прибавлялась.

Она накоплена. Пора иметь
дуб выскобленный, кирпич оттертый,
стекло отмытое, надраенную медь,
и слушать музыку, и чувствовать аортой,
что скоро смерть.

Как только нас тоска последняя прошьет,
век девятнадцатый вернется
и реку вновь впряжет,

закат окно фабричное прожжет,
и на щеках рабочего народца

взойдет заря туберкулеза,
и заскулит ошпаренный щенок,
и запоют станки многоголосо,
и заснует челнок,
и застучат колеса.

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛА

Я помню: в попурри из старых драм,
производя ужасный тарарам,
по сцене прыгал Папазян Ваграм,
летели брызги, хрип, вставные зубы.
Я помню: в тесном зале МВД
стоял великий Юрьев в позе де
Позы по пояс в смерти, как в воде,
и плакали в партере мужелюбы.

За выслугою лет, ей-ей, простишь
любую пошлость. Превратясь в пастиш,
сюжет, глядишь уже не так бесстыж,
и сентимент приобретает цену.
...Для вящей драматичности конца
в подсветку подбавлялась зеленца,
и в роли разнесчастного отца
Амвросий Бучма выходил на сцену.

Я тщился в горле проглотить комок,
и не один платок вокруг намок.
А собственно, что Бучма сделать мог —
зал потрясти метаньем оголтелым?
исторгнуть вой? задергать головой?
или, напротив, стыть, как неживой,
нас поражая маской меловой?
Нет, ничего он этого не делал.

Он обернулся к публике *спиной,*
и зал вдруг поперхнулся тишиной,
и было только видно, как одной

лопаткой чуть подрагивает Бучма.
И на минуту обмирал народ.
Ах, принимая душу в оборот,
нас силой суггестивности берет
минимализм, коль говорить научно.

Всем, кто там был, не позабыть никак
потертый фрак, зеленоватый мрак
и как он вдруг напрягся и обмяк,
и серые кудельки вроде пакли.
Но бес театра мне сумел шепнуть,
что надо расстараться как-нибудь
из-за кулис хотя б разок взглянуть
на сей трагический момент в спектакле.

С меня бутылку взял хохол-помреж,
провел меня, шепнув: «Ну, ты помрэшь», —
за сцену. Я застал кулис промеж
всю труппу — от кассира до гримера.
И вот мы слышим — замирает зал —
Амвросий залу *спину* показал,
а нам лицо. И губы облизал.
Скосил глаза. И тут пошла умора!

В то время как, трагически черна,
гипнотизировала зал спина
и в зале трепетала тишина,
он для своих коронный номер выдал:
закатывал глаза, пыхтел, вздыхал,
и даже ухом, кажется, махал,
и быстро в губы языком пихал —
я ничего похабнее не видел.

И страшно было видеть, и смешно
на фоне зала эту рожу, но
за этой рожей, вроде Мажино,
должна быть линия — меж нею и затылком.
Но не видать ни линии, ни шва.

И вряд ли в туше есть душа жива.
Я разлюбил театр и едва
ли не себя в своем усердье пылком.

Нет, мне не жаль теперь, что было жаль
мне старика, что гений — это шваль.
Я не Крылов, мне не нужна мораль.
Я думаю, что думать можно всяко
о мастерах искусств и в их числе
актерах. Их ужасном ремесле.
Их тренировке. О добре и зле.
О нравственности. О природе знака.

30 ЯНВАРЯ 1956 ГОДА
У Пастернака

Все, что я помню за этой длиной,
очерк внезапный фигуры ледащей,
голос гудящий, как почерк летящий,
голос гудящий, день ледяной,

голос гудящий, как ветер, что мачт
чуть не ломает на чудной картине,
где громоздится льдина на льдине,
волны толкаются в тучи и мчат,

голос гудящий был близнецом
этой любимой картины печатной,
где над трехтрубником стелется чадный
дым и рассеивается перед концом;

то ль навсегда он себя погрузил
в бездну, то ль вынырнет, в скалы не врежась,
так в разговоре мелькали норвежец,
бедный воронежец, нежный грузин;

голос гудел и грозил распаять
клапаны смысла и связи расплавить;
что там моя полудетская память!
где там запомнить! как там понять!

Все, что я помню, — день ледяной,
голос, звучащий на грани рыданий,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной.

ИОСИФ БРОДСКИЙ, ИЛИ ОДА НА 1957 ГОД

Хотелось бы поесть борща
и что-то сделать сообща:
пойти на улицу с плакатом,
напиться, подписать протест,
уехать прочь из этих мест
и дверью хлопнуть. Да куда там.

Не то что держат взаперти,
а просто некуда идти:
в кино ремонт, а в бане были.
На перекресток — обонять
бензин, болтаться, обгонять
толпу, себя, автомобили.

Фонарь трясется на столбе,
двоит, троит друзей в толпе:
тот — лирик в форме заявлений,
тот — мастер петь обиняком,
а тот — гуляет бедняком,
подъяв кулак, что твой Евгений.

Родимых улиц шумный крест
венчают храмы этих мест.
Два — в память воинских событий.
Что моряков, что пушкарей,
чугунных пушек, якорей,
мечей, цепей, кровопролитий!

А третий, главный, храм, увы,
златой лишился головы,

зато одет в гранитный китель.
Там в окнах никогда не спят,
и тех, кто нынче там распят,
не посещает небожитель.

«Голым-гола ночная мгла».
Толпа к собору притекла,
и ночь, с востока начиная,
задёргала колокола,
и от своих свечей зажгла
сердца мистерия ночная.

Дохлёбан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное — шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.

душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо

NEWS

1

Рейхнулась Германия с рильке в пуху —
nach Osten, nach Westen und nach... who is who
уже ничего не понятно —
какие-то звуки и пятна.

Кто скачет над бывшей берлинской стеной?
Ездок запоздалый, с ним сын костяной.
Костюмчики в виде матраса
им выдала высшая раса.

И йодль, и дудль поют голоса —
так призрак свободы потряс их,
и наши аж дыбом встают волоса
в просторных немецких матрасах.

2

Распахнулся помойной яминой
Ленин-Сталин-и т. д.-град,
где с Серебряным веком Каменный
расправлялся полвека подряд.

Нечто толстое, круглое тужится
и выдавливает: «Русофоб!»
Все, что может разрушиться, рушится.
Лампы тушатся. Мать вашу об

топор, студентом украденный,
об копье. Но копье дрожит.
Святой Юрий не справился с гадиной,
и шипит ему гадина: «Жид».

3

Художница Ордаряну говорит, что в последние годы становилось все труднее достать масляные краски, совсем не было белил.
The New York Times, 31 December 1989

Как всякий старый сталинист,
был Чаушеску зол и туп.
Хлестнул его свинцовый хлыст
и превратил в холодный труп.

От пули цвет лица свинцов,
в крови его каракульча,
и, как всегда у мертвецов,
течет из брючины моча.

На ошалелый Бухарест
валом валит свободный снег,
и белым белит все окрест,
идя к концу, двадцатый век.

«ВСЁ ВПЕРЕДИ»

Сексологи пошли по Руси, сексологи!
В. Белов

Где прежде бродили по тропам сексоты,
сексолог, сексолог идет!
Он в самые сладкие русские соты
залезет и вылижет мед.
В избе неприютно, на улице грязно,
подохли в пруду караси,
все бабы сбесились — желают оргазма,
а где его взять на Руси!

РУССКАЯ НОЧЬ

Пахота похоти. Молотьба
страсти. Шабаш. Перекур на подушке.
Физиология — это вроде ловушки.
«Да, а география — это судьба».

Разлиплись. Теперь заработало время,
чтобы из семени вывелось бремя,
чтобы втемяшилось в новое племя:
пламя на знамени и — в стремена!

Так извергается ночью истомной,
темной страстью, никчемной домной,
дымным дыханьем моя страна,
место пустое за соломянем*.

То-то я нынче, словоломаньем
словно пустою посудой гремя,
ее волочу за собой, как вину мою,
в свое неминуемое неименуемое.

Сыне Божий, помилуй мя.

---

* Соломя — овраг (см. мою работу «Между шеломянем и Соломоном: к вопросу о связи между *Задонщиной и Словом о полку Игореве», Russian Language Journal*, №. 115 [1979], pp. 51–53).

ВАРИАЦИИ ДЛЯ БОЯНА

О, Русская земля! ты уже за бугром.
Происходит в перистом небе погром,
на пух облаков проливается кровь заката.
Горько! Выносят сорочку с кровавым пятном,
выдали белую деву за гада.

Эх, Русская земля, ты уже за бугром.
Не за ханом — за паханом, «бугром»,
даже Божья церковь и та приблатнилась.
Не заутрени звон, а об рельс «подъем».
Или ты мне вообще приблазнилась.

Помнишь ли землю за русским бугром?
Помню, ловили в канале гандоны багром,
блохи цокали сталью по худым тротуарам,
торговали в Гостином нехитрым товаром:
монтировкой, ломом и топором.

О, Русская земля, ты уже за бугром!
Не моим бы надо об этом пером,
но каким уж есть, таким и помянем
ошалелую землю — только добром! —
нашу серую землю за шеломянем.

ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ

В российских чащобах им нету числа,
все только пути не найдем —
мосты обвалились, метель занесла,
тропу завалил бурелом.

Там пашут в апреле, там в августе жнут,
там в шапке не сядут за стол,
спокойно второго пришествия ждут,
поклонятся, кто б ни пришел —

урядник на тройке, архангел с трубой,
прохожий в немецком пальто.
Там лечат болезни водой и травой.
Там не помирает никто.

Их на зиму в сон погружает Господь,
в снега укрывает до стрех —
ни прорубь поправить, ни дров поколоть,
ни санок, ни игр, ни потех.

Покой на полатях вкушают тела,
а души веселые сны.
В овчинах запуталось столько тепла,
что хватит до самой весны.

ВЫСОЦКИЙ ПОЕТ ОТТУДА

Справа крякает рессора, слева скрипит дверца,
как-то не так мотор стучит (недавно починял).
Тяжелеет голова, болит у меня сердце,
кто эту песню сочинил, не знал, чего сочинял.

Эх, не надо было мне вчера открывать бутылку,
не тянуло бы сейчас под левою рукой.
А то вот я задумался, пропустил развилку,
все поехали по верхней, а я по другой.

А другая вымощена грубыми камнями,
не заметил, как очутился в сумрачном лесу.
Все деревья об меня спотыкаются корнями,
удивляются деревья — чего это я несу.

Удивляются дубы — что за околесица,
сколько можно то же самое, то же самое долбить.
А березы говорят: пройдет, перебесится,
просто сразу не привыкнешь мертвым быть.

ЗВУК НАЧАЛА ЗИМЫ

1

В такую пору не езда.
Ну впрямь как будто навсегда
застыла, одолев подъем,
моя усталая «Мазда»
пред красным фонарем.
И лед кровав, и снег кровав.
Рвануть? Да нет, лишишься прав.

...А все же Пушкин прав,
что в общем хорошо зимой —
ни пыли нет, ни вони нет,
ни комаров, ни мух нет...

Но к черту! мне пора домой,
а красный свет, а красный свет, а красный свет
не тухнет.

2

Уж не тень заката,
а от тени тень
увела куда-то
стылый этот день.

Краденый у Фета
нежный сей товар
втоптан, как конфета,
в снежный тротуар.

Что-то мне все мстится
за моим мостом —
слово или птица
в воздухе пустом.

Словно кто нестойкий,
русский кто-нибудь
хочет синей сойкой
в воздухе мелькнуть.

3. Bushmills*

Ирландской песенки мотив
сидит, колени обхватив,
покачивается перед огнем
и говорит: что ж, помянем?

Ирландской песенки мотив,
все позабыв, все позабыв,
кроме двух-трех начальных нот,
мне золота в стакан плеснет.

Кроме двух-трех начальных нот
и черного бревна в огне,
никто со мной не помянет
того, что умерло во мне.

А чем прикажешь поминать —
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит.

---

* Марка высококачественного ирландского виски.

ПЁС

Поскольку пес устройством прост:
болтаются язык да хвост,
сравню себя
я с этой шерстью небольшой,
с пованивающей паршой.
Скуля, сипя,

мой мокрый орган без костей
для перемолки новостей,
валяй, мели!
Обрубок страха и тоски,
служи за черствые куски,
виляй, моли!

* * *

Воскресенье. Тепло. Кисея занавески полна
восклицаньями грузчика, кои благопристойны и кратки,
мягким стуком хлебных лотков, т. е. тем, что и есть тишина.
Спит жена. Ей деревья снятся и грядки.

Бесконечно начало вовлечения в эту игру
листьев, запаха хлеба, занавески кисейной,
солнца, синего утра, когда я умру,
воскресенья.

ПО ДОРОГЕ

В какой ты завел меня лес?
Какую траву подминаю?

«Ты веришь, что Лазарь воскрес?»
«Я верю, но не понимаю...»
«Что ж, после поймешь».
«Отольешь, уж если того конвоира
цитировать*. Все это ложь».
«Ты веришь, что дочь Иаира
воскресла, и дали ей есть,
и, вставши, поела девица?
В благую ты веруешь весть?»
«Не знаю, все как-то двоится...»

В ответах тоскливый сквозняк,
но розовый воздух в вопросах.
Цветет вопросительный знак,
изогнут, как странничий посох.

---

* В шестидесятые годы поймали и приговорили к расстрелу уникального нацистского пособника — еврея (ему удалось скрыть свое еврейство от немцев). Рассказывали, что негодяй вел себя до конца браво — когда его вели на расстрел, заявил: «Имею последнее желание — отлить». «Там отольешь», — ответил конвоир.

ЮБИЛЕЙНОЕ

О, как хороша графоманная
поэзия слов граммофонная:
«Поедем на лодке кататься...»
В пролетке, расшлепывать грязь!
И слушать стихи святотатца,
пугаясь и в мыслях крестясь.
Сам под потолок, недотрога,
он трогает, рифмой звеня,
игрушечным ножиком Бога,
испуганным взглядом меня.

Могучий борец с канарейкой,
приласканный нежной еврейкой,
затравленный Временем-Вием,
катает шары и острит.
Ему только кажется кием
нацеленный на смерть бушприт.
Кораблик из старой газеты
дымит папиросной трубой.
Поедем в «Собаку», поэты,
возьмем бедолагу с собой.

Закутанный в кофточку желтую,
он рябчика тушку тяжелую,
знаток сладковатого мяса,
волочит в трагический рот.
Отрежьте ему ананаса
за то, что он скоро умрет.

В БЕЛОЙ КОМНАТЕ

Дюма, слегка сойдя с ума,
мог написать такой роман:
«Пятнадцать лет спустя,
или Книга, исчезающая по мере чтения»
. . . .
Чтоб эту книгу сочинить,
недолго бился беллетрист.
Чуть-чуть в начале зачернить
пришлось бумаги белой лист,
но стал светлее белый свет,
когда сломался карандаш,
когда сюжет сошел на нет,
когда рассеялся пейзаж —
деревья, домик за горой —
а в эпилоге и герой.
Пустынен эпилог,
как койка с белой простыней
под побеленною стеной,
как белый потолок.

В АЛЬБОМ О.

Про любовь мне сладкий голос пел...
Лермонтов

То ль звезда со звездой разговор держала,
то ль в асфальте кварцит норовил блеснуть...
Вижу, в розовой рубашке вышел Окуджава.
На дорогу. Один. На кремнистый путь.

Тут бы романсам расцветать, рокотать балладам,
но торжественных и чудных мы не слышим нот.
Удивляется народ: что это с Булатом?
Не играет ни на чем, песен не поет.

Тишина бредет за ним по холмам Вермонта
и прекрасная жена, тень от тишины...
Белопарусный корабль выйдет из ремонта,
снова будут паруса музыкой полны.

Отблеск шума земли, отголосок света,
ходит-бродит один в тихой темноте.
Отражается луна в лысине поэта.
Отзывается струна неизвестно где.

ГИДРОФОЙЛ

Не на галере, не в трюме мышином,
он задышал в отделенье машинном,
новых элегий коленчатый лад.
Прополоскав себе горло моэтом,
на пироскаф поспешим за поэтом.
Стих заработал. Парус подъят.

Вижу матроску, тельняшку, полоски.
Кушнер — ку-ку! И ку-ку, Кублановский!
Много ль осталось нам на веку?
Якорь надежды. Отчаянья пушки.
Чаек до черта, да нету кукушки.
Это ль ответ на вопрос: ни ку-ку.

Это ли нам завещал Боратынский —
даром растрачивать стих богатырский
на обмиранье, страх в животе?
В русском народе давно есть идейка:
жизнь-де копейка, судьба-де индейка.
Петь — так хотя бы о той же воде.

Вижу: волна на волну набежала.
Смерть это, что ли? Но где ж ее жало?
Жала не вижу. В воду плюю.
Вижу я синие дали Тосканы
и по-воронежски водку в стаканы
лью, выпиваю, сызнова лью.

Я, как и все, поклоняюсь Голгофе,
только вот бескофеиновый кофе

с сахаром веры, знать, не по мне.
Рай ли вдали, юнгианское ль море,
я исчезает в этом растворе —
буква в поэме, нитка в рядне.

Что там маячит? Палаческий Лисий
Нос или плачущий светлый элизий,
милые тени — друга, отца?
Что-то подходит к концу, это точно.
Что-то, за чем начинается то, что
Бог начинает с конца.

БРАЙТОН-БИЧ

Но всё, о море! всё ничтожно
Пред жалобой твоей ночной...
Вяземский

трогал писю трогал кака
наказали плакал что больше не будет

подарили книгу «Сын полка»
когда вырастет пионэром будет

Дважды прочитал «Хуторок в степи»
(«Сын полка» отправлен на полку).
Подглядел, как девочки делают пипи,
и это надолго сбивает с толку.

Позади «Детские годы Ильича»,
впереди праздник «Встреча весны».
Уже не волнуют фекалии и моча,
но поразительные картинки из «Справочника врача»
превращаются в сны.

Узнал, что «пидараст»
не ругательство, а физрук Абдула.

Сказала, что умрет, но не даст
поцелуя без любви.

Но дала.
И так далее. Институт. На картошке
спальные мешки, свальные грешки.

Инженер. Муж. Детские горшки.
До пятницы занимание трешки.
По вечерам водка и ТВ, ТВ:
грязноармеец громит беглогвардейца.
Самиздат, тамиздат и т. д., и т. п.

И когда уже не на что больше надеяться,
заходит друг, говорит: «Ну, елки-
палки, чего нам терять, опричь
запчастей».

                    И вот он в Нью-Йорке.
Нью-Йорк называется Брайтон-Бич.
Над ним надземки марсианская ржа.
В воздухе валяются неряшливые птицы.
Под досками прибой пошевеливает, шурша,
презервативы, тампоны, газеты, шприцы.

ПЕСНЯ ДЕСАНТНОГО ПОЛКА

Кончаюсь в зверских горах в шоке, крови, тоске,
под матюги санитаров и перебранку раций.
Сладко, как шоколадка, *и почетно,* как на доске,
умереть за отчизну, говорит Гораций.

Здесь, за зверским хребтом, мне перебили хребет
плюс полостное ранение, но это я не заметил.
Мне в ухо хрипит по-русски отчизна, которой нет:
дескать, держись, и Высоцкого, и новости, и хеви метал.

Кончаюсь в зверских горах. Звери друг дружку рвут,
у не своих щенят внутренности выедают.
Я кончился, но по инерции: «Вот-вот, — рации врут, —
вот-вот вертолеты вылетают».

ВЕТХАЯ ОСЕНЬ

Отросток Авраама, Исаака и Иакова
осенью всматривается во всякий куст.
Только не из всякого Б-г глядит и не на всякого:
вот и слышится лишь шелест, треск, хруст.

Конь ли в ольшанике аль медведь в малиннике?
Шорох полоза? Стрекот беличий? Крик ворон?
Или аленький, серенький, в общем маленький, но длинненький
пришепетывает в фаллический микрофон?

Осень. Обсыпается знаковость, а заповедь
оголяется. С перекрестка душа пошла вразброд:
направо Авраамович, назад Исаакович,
налево Иаковлевич, а я — вперед.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Родной мой город безымян,
всегда висит над ним туман
в цвет молока снятого.
Назвать стесняются уста
трижды предавшего Христа
и все-таки святого.

Как называется страна?
Дались вам эти имена!
Я из страны, товарищ,
где нет дорог, ведущих в Рим,
где в небе дым нерастворим
и где снежок нетающ.

НА СМЕРТЬ Ю. Л. МИХАЙЛОВА

Мой стих искал тебя...
Вяземский

Не гладкие четки, не писаный лик,
хватает на сердце зарубок.
Весь век свой под Богом ты был как бы бык.
Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.

В шампанской стране меня слух поджидал.
Вот где диалог наш надломан:
то Вяземский ввяжется, то Мандельштам,
то глупый «смерть-Реймс» палиндромон.

«Что ж делать — Бог лучших берет», — говорят.
Берет? Как письмо иль монету?
То сильный, то слабый, ты был мне как брат.
Бог милостив. Брата вот нету.

Девятый уж день по тебе я молчу,
молюсь, чтоб тебя не забыли,
светящейся Розе, цветному Лучу,
крутящейся солнечной пыли.

12–18 сентября 1990 года, Эперне–Париж

* * *

Смутное время. Повесть временных тел.
Васнецов опознает бойцов по разбросанным шмоткам.
Глаз, этот орган мозга, последнее, что разглядел,
нацеленный клюв с присохшим кровавым ошметком.

Едет на белом коне Истребитель, он базуку снимает с рамен.
Шороху он наведет в генетическом фонде.
Он поработал уже на восточном фронте.
Теперь на западном жди перемен.

* * *

Повстречался мне философ
в круговерти бытия.
Он спросил меня: «Вы — Лосев?»
Я ответил, что я я.
И тотчас засомневался:
я ли я или не я.
А философ рассмеялся,
разлагаясь и гния.

Итальянские стихи

Палаццо Те

Однажды кто-то из Гонзаг
построил в Мантуе палаццо,
чтоб с герцогиней баловаться
и просто так — как власти знак.

Художник был в расцвете сил,
умея много, много смея,
он в виде человекозмея
заказчика изобразил.

Весь в бирюзово-золотом,
прильнувши к герцогини устью,
с торжественностью и грустью
драконогерцог бьет хвостом.

Окрашивает корабли,
и небо, и прибой на чреслах
сок виноградников окрестных,
напоминающий шабли.

Что ей в туристе-дурачке?
Не отпускает эта фреска
мой взгляд, натянутый, как леска,
меня, как рыбу на крючке.

Равенна

Под австрийскими стенами крепости
реквием тростника
памяти старого ребусника,
пакостника, крепостника.
Далее — марево желтое,
море цвета гангрены
и довольно тяжелая
индустрия Равенны.

ЛЭПы, шоссе, ирригация,
газо- и нефтепровод.
Цивилизация-гадина
воет, гудит, ревет.
Словно мусор валяется
порт на краю равнины,
и турист растворяется
в толпах местной рванины.

Дар живописца, прозаика
в длинном движенье мазка.
Другое дело — мозаика,
к куску приставленье куска.
Бормотать что получится
на стекловидной фене —
вот чему учат мученицы
в Равенне —

Евфимия, Пелагея, Екатерина, Агнесса,
Евлалия, Цецилия, Люция, Кристина,
Валерия

плюс перед каждым именем
св., св., св., св., св., св...
Твердокаменным пламенем
светятся лики все,

на изумрудном облаке
ангел сидит здоровенный.
В византийском обмороке
мы расстаемся с Равенной.

Иския

Я помню, жил на свете человек,
пока не умер от туберкулеза,
который, помню, гордо заявлял
по пьянке, что он насекомоложец.
Имея инвалидность первой группы,
поймаю муху, крылья оторву,
с утра, когда соседи на работе,
наполню ванну, сяду, чтоб торчал
из пены признак моего еврейства,
и муху аккуратно посажу —
поползай, милая, не улетишь без крыльев!
Пуститься в плаванье? но океан горяч,
не доплывешь до белых берегов;
остаться здесь? но остров вулканичен
и близко, близко, близко изверженье...
(Еще я помню, как-то раз в гостях
у всех пропала мелочь из пальто;
он был оставлен в сильном подозренье.)
А больше ничего о нем не помню.
Хотя я рылся в памяти три дня,
бродя по пляжу, сидя на балконе,
расфокусированный взгляд переводя
с Неаполя правее, на Везувий,
когда я в прошлый раз боялся смерти
и жил на Искии, курортном островке.

НА СМЕРТЬ Б. Ф. СЕМЕНОВА

Завернули в холсты,
и торчат из цветочной кучки
заострившиеся черты
остряка-самоучки.

Где ты там, отзовись,
петроградско-израильский житель,
старый ангел мой, атеист,
друг, читатель, хвалитель,

обучивший меня
по пивным козырять, раскошелясь,
выше звуков Моцáрта ценя,
шорох, шарканье, шелест

по граниту подошв,
пузырей в толстокружечной пене,
макинтошей и кепок о дождь,
невских волн о ступени,

в сорок пятом небес
о цветные салютные залпы,
как бы ты не сказал и как без
тебя я не сказал бы.

Пусть кладбищенский счет
в шекелях шелестит по холстине,
потому что чему же еще
шелестеть в Палестине?

НЕТ

Вы русский? Нет, я вирус спида,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.

Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.

Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —
запруда, мельница, проселок...
а что там дальше, знает Бог.

ИЗ ВЕРГИЛИЯ

...что стих мой бедноват,
а вот владей я эолийским ладом,
и я бы мог сказать: «Он уходил,
как выигравший дело адвокат,
когда, похлопав по плечу клиента,
он отбывает в синий рай Кампаньи»
(или зеленый рай Зеленогорска).

Как внятно в захолустной тишине
звучит под осень музыка ухода!
Как преломляет малость коньяка
на дне стакана падающий косо
закатный луч, который золотит
страницу, где последняя строка
оборвана на знаке переноса...

ПАРИЖ, 1941

По реке плывет корзинка, из нее звучит «Уа!».
Тень невидимого Бога накрывает храм Изиды.
Дойстойевский ищет Бога вместе с графом Толстуа.
Чек вручен с аплодисманом, Митя с Зиной будут сыты.

По реке трясутся волны, мельче старческого пульса.
Мокнут буквы МЕРЕЙКОВСКИЙ — волны волокут афишку.
Левый берег усмехнулся, сигаретой затянулся.
Правый берег улыбнулся, кашлянул, чтоб скрыть отрыжку.

Задери-подол-Маринка не дает покоя Зинке.
От эрзац-сигар немецких чахнет Зинкино двуснастье.
Старый мальчик круглопопый подает поэту зонтик.
Чешется. В Париже дождик. Над Европою ненастье.

По реке плывет корзинка, та корзиночка пуста.
В захолустном польском небе смрадно виснут дыма клубы.
Тщетно ищет человека Бог из глубины куста.
В старости все декаденты непременно злы и глупы.

СОНАТИНА БЕЗУМИЯ

1. *Allegro:* Ленинград, 1952

Иван Петрович спал как бревно.
Бодрый встал поутру.
Во сне он видел вшей и говно,
что, как известно, к добру.
Он крепко щеткой надраил резцы.
В жестянке встряхнул порошок.
Он приложил к порезам квасцы,
т. е. кровянку прижег.
Он шмякнул на сковородку шпек,
откинув со лба вихор.
«Русский с китайцем братья навек», —
заверил его хор.
Иван Петрович подпел: «Много в ней
лесов, полей и рек».
Он в зеркале зубы подстриг ровней
и сделал рукой кукарек.
Он в трамвае всем показал проездной
и пропуск вохре в проходной.
Он вспомнил, что в отпуск поедет весной
и заедет к одной.
Браковщица Нина сказала: «Привет!»
Подсобница Лина: «Салют!»
Низмаев буркнул: «Зайдешь в обед».
Иван сказал: «Зер гут».
И пошел станок длинный день длить,
резец вгрызаться в металл.

Иван только раз выбегал отлить
и в небе буквы читал.
Из-за разросшегося куста
не все было видно ему:
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕ
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТА
ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУ

2. *Andante:* New York, 1992

Оборванец, страдающий манией
ощущения себя страной,
растянувшейся между Германией
и Великой Китайской Стеной.
Неба синь — у него под глазами,
чернозем — у него под ноггями,
непогодой черты его стерты,
пухнет брань на его языке;
понукаемый голосами,
он чего-то копает горстями,
строит дамбу в устье аорты,
и граница его на замке!

3. *Allegretto:* Шантеклер

Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю.
Но чтобы сразу не подох, не додушили.
На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь.
Содрали брюки и белье, запетушили.

Бог смял меня и вновь слепил в иную особь.
Огнеопасное перо из пор поперло.
Железным клювом я склевал людскую россыпь.
Единый мелос торжества раздул мне горло.

Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень
распространяет холод льда, жар солнцепека.
Я певень Страшного Суда. Я юн и древен.
Один мой глаз глядит на вас, другой — на Бога.

ИЗ БЛОКА

1

...А в избе собрались короли.

Выпиватель водки. Несъедатель ни крошки.
Отрепьем брюк подметатель панелей.
Он прежде жил у старушки в сторожке
в оледенелой стране оленей.

Он одышлив. Щеки его толстомясы.
Но когда ему водка слепит ресницы,
голубые песцы, золотые лисицы
перебирают в небе алмазы.

2

У сонной вечности в руках.

. . . . *

3

...Черную розу в бокале.

Очи черные, ночи белые, вполнакала
электричество, речи вздорные, полбокала
недопитого бледно-желтого, как знак вопроса —
черенок в пузырьках — поникшая черная роза

* См. «Итальянские стихи» (2).

Я пьяней вина, пьяней вина, пьяней водки.
Очи черные, ноги голые идиотки-
красотки, повизгивающий цыганский голос,
широкошуршащий, как санный полоз.

То во мгле игла, во мгле игла чешет пластинку.
Кошка черная вылизывает каждую шерстинку
черную, во мраке мурлычет мурлыка,
как Блок не вяжущий лыка.

Скатерть белая, вином залитая,
а заря за окном — золотая.
Где там мой стакан недопитый?
На душе океан ледовитый.

4

Отвяжись ты, шелудивый...

Записки фокстерьера о хозяйке:
однажды на прогулке сполз чулок,
роняла крошки, если ела сайки,
была строга, а он служил чем мог.
Вся правда исподнизу без утайки,
вот только псиной отдает чуток.

Собачья старость. Пожелтели зубки,
и глазки затянула пелена,
и ноздри позабыли запах юбки,
и ушки шорох узкого сукна.
Звенит звонок, и в колбочку по трубке
стекает безусловная слюна.

Над памятью, как над любимой костью,
он трудится, самозабвенно тих,
он на чужих рычит с привычной злостью
и молча сзади цапает своих,

скулит, когда наказывают тростью,
и лижет руки бью... Да сколько их!

Собачий мир, заливистый виварий.
Клац-клац чемпионат по ловле блох.
У-у-у-у-у-у подлунных арий.
Трагический и тенорковый Блок.
И вот, Иван Петрович бедных тварей,
в халате белоснежном входит Бог.

Он в халате белоснежном,
в белом розовом венце,
с выраженьем безнадежным
на невидимом лице.

1919–1994

Так вот кровавит себе ветеран
рот выстрелом острым и быстрым.
Так музицируют по вечерам
фрейдо-марксисты — трам-тарарам, —
склонные к самоубийствам.

Трубы дубов зеленели в лесах,
флейты посвистывал зяблик,
грома литавры — трах-тарарах, —
но уж несется на всех вирусах
в Гамбург испанский кораблик.

С ядом в крови и сухоткой во рту
так музицируют немцы,
будто подводят под чем-то черту.
Третьи уж сутки пылает в порту
красный флажок инфлуэнцы.

Заперт корабль в карантинную клеть.
Некому требовать карго.
А в заводи медь пойдет зеленеть,
краска лупиться, железо ржаветь
и холодеть кочегарка.

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Из дому вышел в свитерке.
Апрель был в легком ветерке.

Москвы невзрачная река
подмигивала издалека.

Казалось, тот же мутный глаз
глядел сквозь амбразуры касс.

Он ставил подпись, деньги греб,
и радость раздувала зоб

весенней песней торжества:
Москва-ква-ква! Москва-ква-ква!

Уж как везло! Уж так везло!
Он в общем знал, что это зло,

но бес, щекочущий ребро,
шептал: ништяк, добро, добро!

Так он попал на праздник зла.
Рвал с вертела куски козла,

пил и лобзался с жирным злом,
а в это время под столом

его рука путями зла
под юбку, потная, ползла.

Потом он побывал в аду.
Блевал грузинскую бурду

и нюхал черную звезду
у сатаны в заду.

. . . .

В котлах клубился серный дым.
Он шел по улицам пустым

пустой, воняющий грехом,
и ехал бес на нем верхом.

Домой пришел без свитерка.
Ключ долго ёрзал мимо цели.

Только и мог сказать, что «Рка-
цители».

С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ
(15 июня 1925 года)

...и мимо базара, где вниз головой
из рук у татар
выскальзывал бьющийся, мокрый, живой,
блестящий товар.

Тяжелая рыба лежала, дыша,
и грек, сухожил,
мгновенным, блестящим движеньем ножа
ее потрошил.

И день разгорался с грехом пополам,
и стал он палящ.
Курортная шатия белых панам
тащилась на пляж.

И первый уже пузырился и зрел
в жиру чебурек,
и первый уже с вожделеньем смотрел
на жир человек.

Потом она долго сидела одна
в приемной врача.
И кожа дивана была холодна,
ее — горяча,

клеенка — блестяща, боль — тонко-остра,
мгновенен — туман.
Был врач из евреев, из русских сестра.
Толпа из армян,

из турок, фотографов, нэпманш-мамаш,
папашек, шпаны.
Загар бронзовел из рубашек-апаш,
белели штаны.

Толкали, глазели, хватали рукой,
орали: «Постой!
Эй, девушка, слушай, красивый такой,
такой молодой!»

Толчками из памяти нехотя, но
день вышел, тяжел,
и в Черное море на черное дно
без всплеска ушел.

Как вата склубилась вечерняя мгла
и сдвинулась с гор,
но тонко закатная кровь протекла
струей на Босфор,

на хищную Яффу, на дымный Пирей,
на злачный Марсель.
Блестящих созвездий и мокрых морей
неслась карусель.

На гнутом дельфине — с волны на волну
сквозь мрак и луну,
невидимый мальчик дул в раковину,
дул в раковину.

КОШМАР 1995

Приснился сон на пять персон.
Банкет по конкурсу анкет.
«Невероятный натюрморт»
закусок и советских морд.

Сначала выплыл, толстобрюх,
писатель, кандидат наук
(Ильич сказал бы «мозговнюк»),
в здоровом теле русский дух.
Увидел полный стол жратвы
и крикнул ей: «Иду на вы!»

Но тут поднялся генерал
в свой небольшой, но толстый рост
и воздух речью обмарал,
произнося военный тост:
«Чужой земли мы не хотим ни пяди.
Сдавайтесь, бляди!»

А там смутнее — у дверей
еврей, но как бы иерей,
давитель на носу угрей
тремя перстами — ейн, цвей, дрей.
. . . .
И я там был,
мед-пиво пил.

Звяк рюмок, вилок, голоса.
Лежит убитый человек.
Сползает муха, как слеза,

из полуприоткрытых век.
Я в эти щелочки смотрю,
«Пора проснуться», — говорю.
Смотрю в застылые глаза
и говорю: «Ты за?»

Он за.

Послесловие

1996–1998

ОТ АВТОРА

В предисловии к своей первой книжке, «Чудесный десант» (изд-во «Эрмитаж», США, 1985 г.), я писал, что толчком к моему сочинительству оказался отъезд Бродского из России в 1972 году. Словно сработали какие-то компенсаторные механизмы, и, перестав быть непосредственным свидетелем творчества Иосифа, я незаметно для себя самого стал сочинять собственные стихи. Сочинял, как Бог на душу положит, не думая не только о печати, но, поначалу, и о том, чтобы показать свои сочинения близким. Почти на бессознательном уровне было, однако, одно с самого начала ограничение: все, что в возникавшем стихотворении отдавало Бродским — его интонацией, словарем, остроумием, — отбрасывалось. Дело было не в пресловутом «неврозе влияния», а в очевидной неделикатности, даже комичности, которая сопутствовала бы сочетанию элементов изысканной и трагической поэтики Бродского с моими текстами.

Через несколько недель после смерти Иосифа († 28 января 1996 года) у меня стал возникать цикл стихотворений, прямо или косвенно связанных с его памятью («стихов заупокойный лом»), и в них, против принятого правила, было много от него — его слова, его интонации, иногда прямые цитаты. Почему-то здесь это казалось уместно, может быть, оттого, что одновременно я стал часто видеть его во сне, а между сновидением и стихотворением связь более крепкая, чем думают. Стихи этого периода составляют первый раздел данного сборника.

Потом наплыв заимствований стал проходить, одновременно с тем, что стало расплываться горе утраты и продолжала расти пустота там, где должен был быть Бродский.

18 ноября 1997
Hanover, New Hampshire



* * *

С января на сорок дней
мир бедней.

Тычась в мертвые сосцы
то ль волчицы, то ль овцы,

сорок дней сосут твое
из него отсутствие.

Агнец стих. Не воет волк.
Мир умолк.

Не скребет по древу мышь.
Всюду тишь.

Воронья стая на дворе.
Чернила стынут на пере.

Снег на мраморе стола.
Бумага белая бела.

8 марта 1996

ХОЛОД, 1921–1996

Я знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И все-таки, читая его, я каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого лета Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить.

*В. Вейдле**

Веки и губы смыкаются в лад.
Вот он — за дверью,
и уступают голос и взгляд
место забвенью.

Ртуть застывает, как страж на посту —
нету развода.
Как выясняется, пустоту
терпит природа,

ибо того, что оставлено тлеть
под глиноземом,
ни мемуарам не запечатлеть,
ни хромосомам.

Кабы не скрипки, кабы не всхлип
виолончели,
мы бы совсем оскотинились, мы б
осволочели…

---

* В. Вейдле. «Петербургская поэтика», стр. XXXVI, в кн. Николай Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, Вашингтон, изд. книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1968.

Ветер куражится, точно блатной,
тучи мучнисты.
С визгом накручивают одной
ручкой чекисты

страшные мерзлые грузовики
и патефоны,
чтоб заглушать винтовок хлопки
и плач Персефоны.

Март 1996–23 декабря 1997

* * *

Коринфских колонн Петербурга
прически размякли от щелока,
сплетаются с дымным, дремотным,
длинным, косым дождем.
Как под ножом хирурга
от ошибки анестезиолога,
под капитальным ремонтом
умирает дом.

Русского неба буренка
опять не мычит, не телится,
но красным-красны и массовы
праздники большевиков.
Идет на парад оборонка.
Грохочут братья камазовы,
и по-за ними стелется
выхлопной смердяков.

4 апреля 1996
Eugene

* * *

Включил ТВ — взрывают домик.
Раскрылся сразу он, как томик,
и пламя бедную тетрадь
пошло терзать.
Оно с проворностью куницы
вмиг обежало все страницы,
хватало пищу со стола
и раскаляло зеркала.
Какая даль в них отражалась?
Какое горе обнажалось?
Какую жизнь сожрала гарь —
роман? стихи? словарь? букварь?
Какой был алфавит в рассказе —
наш? узелки арабской вязи?
иврит? латинская печать?
Когда горит, не разобрать.

30 апреля 1996
Eugene

* * *

На кладбище, где мы с тобой валялись,
разглядывая, как из ничего
полуденные облака ваялись,
тяжеловесно, пышно, кучево,

там жил какой-то звук, лишенный тела,
то ль музыка, то ль птичье пить-пить-пить,
и в воздухе дрожала и блестела
почти несуществующая нить.

Что это было? Шепот бересклета?
Или шуршало меж еловых лап
Индейское, вернее бабье, лето?
А то ли только лепет этих баб —

той с мерой, той прядущей, но не ткущей,
той с ножницами? То ли болтовня
реки Коннектикут, в Атлантику текущей,
и вздох травы: «Не забывай меня».

5 мая 1996
Eugene

* * *

За голландские гульдены-деньги
покажет нам ван ден Энге, как долго, почти полдня,
разглаживал ветер ленивые складки флага.
Из четырех стихий он не любил огня,
был равнодушен к земле. Но воздух зато! но влага!

А вечер на рейде на флейте играет сигнал тишины.
По берегу шляется списанный на берег пьяница-дождик.
Лоскутная азбука пестрых флажков: «Сожжены
корабли, в непрозрачную землю зарыт художник».

* * *

Где воздух «розоват от черепицы»,
где львы крылаты, между тем как птицы
предпочитают по брусчатке пьяццы,
как немцы иль японцы, выступать;
где кошки могут плавать, стены плакать,
где солнце, золота с утра наляпать
успев и окунув в лагуну локоть
луча, решает, что пора купать, —
ты там застрял, остался, растворился,
перед кофейней в кресле развалился
и затянулся, замер, раздвоился,
уплыл колечком дыма, и — вообще
поди поймай, когда ты там повсюду —
то звонко тронешь чайную посуду
церквей, то ветром пробежишь по саду,
невозвращенец, человек в плаще,
зека в побеге, выход в зазеркалье
нашел — пускай хватаются за колья, —
исчез на перекрестке параллелей,
не оставляя на воде следа,
там обернулся ты буксиром утлым,
туч перламутром над каналом мутным,
кофейным запахом воскресным утром,
где воскресенье завтра и всегда.

9 мая 1996
Eugene

* * *

Инициалы — Л. Г. (Л. К.?),
крылья сложив на манер мотылька,
чуть вздрагивают, легки,
на левом плече строки.

Названье (скажем, «Кафе Триест»)
рассеянным взглядом глядит окрест
и видит черную печку, бар,
фото на стенках, пар

от кофеварки. Как некий тиран,
стихотворение по вечерам
сюда приходит и стул берет,
и крепкий свой кофе пьет.

И жидкость черная горяча,
и вспархивают с его плеча
инициалы Л. К. (Л. Г.?)
и летят налегке

над электронной долиной теней.
Их тени — незримы, его — длинней
долины. Они улетают прочь,
и наступает ночь.

29 мая 1996
San Francisco

* * *

Нине

А в Псковской области резвятся сеголетки.
Мертв тот, кто птичку выпускал из клетки.
Но семенят пушинки тополей
нечернозем полей.

Он на лошадке цвета шоколадки
катался без дорог,
и цоканье копыт его лошадки
отцеживалось в местный говорок.

Одна из необъединенных наций,
дождь третий день висит, как полицай,
и если кто у них гораций,
так только цай.

Одна из наций, вдрызг разъединенных,
не ведавших об оденах и доннах,
не зван, но он
звучит, когда душа отглаголала,
отлитый из латинского металла
в долине звон.

22 июня 1996

* * *

Научился писать, что твой Случевский.
Печатаюсь в умирающих толстых журналах.
(Декадентство экое, александрийство!
Такое бы мог сочинить Кавафис,
а перевел бы покойный Шмаков,
а потом бы поправил покойный Иосиф.)
Да и сам растолстел, что твой Апухтин,
до дивана не доберусь без одышки,
пью вместо чая настой ромашки,
недочитанные бросаю книжки,
на лице забыто вроде усмешки.
И когда кулаком стучат ко мне в двери,
когда орут: у ворот сарматы!
оджибуэи! лезгины! гои! —
говорю: оставьте меня в покое.
Удаляюсь во внутренние покои,
прохладные сумрачные палаты.

9 августа 1996

ТАЙНЫЙ ОТЕЛЬ: ПРИГЛАШЕНИЕ

Евгению Рейну, с любовью

Ночью с улицы в галстуке, шляпе, плаще.
На кровати в гостинице навзничь — галстук, шляпа, ботинки.
В ожиданье условного стука, звонка и вообще
от блондинки, брюнетки... нет, только блондинки.

Всё внушает тревогу, подозрение, жуть —
телефон, занавеска оконная, ручка дверная.
Всё равно нет иного черно-белого рая,
и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть.

Шевелящимся конусом света экран полоща,
увернемся, обманем погоню, с подножки соскочим
под прикрытием галстука, шляпы, плаща,
под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем.

Дома дым коромыслом — комоды менты потрошат,
мемуарная сволочь шипит друг на дружку: не трогай!
Тихо в тайном отеле, только тонкие стены дрожат
от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.

10–11 декабря 1996

* * *

Последняя в этом печальном году
попалась мыслишка, как мышка коту...

Обратно на свой залезаю шесток,
ее отпускаю бежать на восток,
но где ей осилить Атлантику! —
силенок не хватит, талантику.

Мой лемминг! Смертельная тяжесть воды
навалит — придется солененько,
и луч одинокой сверхновой звезды
протянется к ней, как соломинка.

1–5 февраля 1997

АРХИПЕЛАГ

Янгфельдтам

Дабы лазурь перекрещивал кадмий,
ветер гуляет стервец стервецом,
свет облакам выделяя — блокадный
тусклый урезанный рацион.

Все мы собою в таком околотке
изображаем смешную беду
подлой — нет, бедной! — советской подлодки,
в шхерах застрявшей у всех на виду.

Что ж, с днем рождения! — примем лекарство
горького шнапса — на миг исцелит,
ибо вокруг нас — небесное царство,
хвойная память, вечный гранит.

Берег с морщиной, прорезанной льдиной,
так и застыл со времен ледника,
сплошь обрастая мхом, как щетиной
мертвая обрастает щека.

24 мая 1997
Стокгольм

4, RUE REGNARD

V. S.

Здрасте стены, впитавшие стоны страсти,
кашель, русское «бля» из прокуренной пасти!
Посидим рядком
с этим милым жильем, года два не метенным,
где все кажется сглажено монотонным
тяжким голосом Музы, как многотонным
паровым катком.

Человек, поживший в такой квартире,
из нее выходит на все четыре,
не глядит назад,
но потом сворачивает налево,
поелику велела одна королева,
в Люксембургский сад.

А пока в Одеоне Пьеро с Труффальдино
чепушат, запыленная зеркала льдина
отражает сблизи
круглобокий диван, — приподнявшись на ластах,
он чего-то вычитывает в щелястых
жалюзи.

Здрасте строфы ставень, сведенные вместе,
параллельная светопись с солнцем в подтексте,
в ней пылинок дрожь.
Как им вольно вращаться, взлетать, кувыркаться!
Но потом начинает смеркаться, смеркаться,
и уже не прочтешь.

4 июня 1997
Париж

РИМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Три пчелы всё не вытащат ног из щита Барберини,
или, как срифмовал бы ты, в Риме бери не
хочу вечных символов, эмблем, аллегорий и др.
В вечной памяти нет прорех, пробелов и дыр.

Оседлал облака, что приснятся тебе и Ламарку,
император, себя воплотивший в коренастую арку,
Тит, который ходил молотить наших пращуров в Иудее.
С раскоряченным всадником сходны мраморные затеи.

Так на облачном белом коне триумфатор въезжает на Форум,
чтобы сняться с туристами. А другой император, с которым
у тебя больше общего, в окруженье пятнистого дога,
утешает нас тем, что жизнь не имеет итога.

Это я просто так, чтобы время убить, для порядку.
Вот невзрачная бабочка совершает промашку
и мешает писать, совершая посадку на эту тетрадку,
принимая ее за большую ромашку.

9 июня 1997
Foro Romano

PIETÀ

Мертвый мрамор,
обвисший с отверделых
от горя мраморных колен.

Мраморный зрачок
не реагарует на свет, но вспышка
за вспышкой всё продолжают пробовать — а вдруг! —
японцы, немцы...

13 июня 1997
Рим

II

ВИД ПЕТЕРБУРГА

> И когда войдешь в город,
> встретишь сонм пророков...
> *1 Царств, X, 5*

Повинуясь чугунной бабе,
разверзаются хляби,
но символом надежды сияет золото блях.
Распускаются ангелы на золотых стеблях.
А фаворского света в небе —
что жмыха в блокадном хлебе.

Май–июль, 1997

СОН О ЮНОСТИ

Л. Виноградову

Вдруг в Уфлянд сна вбегает серый вольф.
Он воет джаз в пластмассовый футлярчик,
яйцо с иголкой прячет в ларчик
и наизусть читает Блока «Цвёльф».

Я в этом сне бездомным псом скулле,
но юра нет, а есть лишь снег с водою,
и я под ужас джаза вою,
вовсю слезу володя по скуле.

Тут юности готический пейзаж,
где Рейн ярится и клубится Штейнберг,
картинкой падает в учебник
«Родная речь» для миш, серёж, наташ,

вить, рит (рид) и др., чей цвет волос соломен...
Но в лампе сна всегда нехваттка ватт.
Свет юности непрост, ерёмен
и темноват.

4 июля 1997

ВОЗВРАЩЕНИЕ С САХАЛИНА

Мне 22. Сугроб до крыши.
«Рагу с козлятины» в меню.
Рабкор, страдающий от грыжи,
забывший застегнуть мотню,
ко мне стучит сто раз на дню.

Он говорит: «На Мехзаводе
станки захламили хоздвор.
Станки нуждаются в заботе.
Здесь нужен крупный разговор».
Он — раб. В глазах его укор.

Потом придет фиксатый Вова
с бутылью «Спирта питьевого»,
срок за убийство, щас — прораб.
Ему не хочется про баб,
он все твердит: «Я — раб, ты — раб».

Зек философствует, у зека
сверкает зуб, слезится веко.
Мотает лысой головой —
спирт душу жжет, хоть питьевой.
Слова напоминают вой.

И этот вой, и вой турбинный
перекрывали выкрик «Стой!
Кто идет?», когда мы с Ниной,
забившись в ТУ полупустой,
повисли над одной шестой.

Хоздвор Евразии. Текучки
мазутных рек и лысых льдов.
То там, то сям примерзли кучки
индустриальных городов.
Колючка в несколько рядов.

О как мы дивно удирали!
Как удалялись Норд и Ост!
Мороз потрескивал в дюрале.
Пушился сзади белый хвост.
Свобода. Холод. Близость звезд.

НЕТРЕЗВОСТЬ

«В левом углу, чуть правее... да-да,
где вместо елки стоит пустота,
рядом на полке портрет Соловьева
с дикою зарослью в области рта».
        «Я ничего там не вижу такого
        в области автора „Антихриста“.

Свет бы включить — не видать ни черта!»
«Видишь, где Фрейда обложка тверда
рядом с приятными бреднями Юнга,
как бы проблескивает черта —
        это стекает время, как слюнка
        из приоткрытого спящего рта».

«Где ты набрался подобных химер?»
«В детстве, должно быть, когда, например,
нас обучали вальсу-бостону,
а приучили к музыке сфер».
        «Вас научили мечтанью пустому,
        а с алкоголем полегче бы, сэр!»

«Спирт задубелый со льдом и водой
перемешаю, и псевдосвятой
мне улыбнется в своем ледерине...»
«Не уходи, не... Куда ты? Постой!»
        «Я уплываю на призрачной льдине,
        руководимый незримой звездой».

РАСТЕРЯННОСТЬ

С Уфляндом в Сан-Франциско
сижу в ресторане «Верфь».
Предо мной на тарелке червь,
розовый, как сосиска.

Я не знаю, как съесть червя.
Ему голову оторвя?
или, верней, оторвав?
засучив рукав?

с вилкой выскочив из-за угла?
приговаривая: «Была
не была!»? посолив?
постным маслом полив? попéрчив?

Я растерян.
Уфлянд стыдлив.
Червь доверчив.

* * *

Взять бы по-русски — в грязь да обновою,
плюхнуться в мрак ледяной!
Все просадить за восьмерку бубновую
окон веранды одной.

Когти рвануть из концлагеря времени,
брюхом и мордой к земле,
да ледорубом бы врезать по темени
тезке в зеркальном стекле.

Ночь догоняет меня на бульдозере.
Карта идет не ко мне.
Гаснут на озере красные козыри,
золото меркнет в окне.

* * *

Что сквозит и тайно светит…
Тютчев

Как, зачем в эти игры ввязался,
в это поле-не-перекати?
Я не знаю, откуда я взялся,
помню правило: взялся — ходи.

Помню родину, русского Бога,
уголок на подгнившем кресте
и какая сквозит безнадега
в рабской, смирной Его красоте.

1997

* * *

Из Фета

Перекресток, где ракитка
стынет в снежном сне,
да простая, как открытка,
видимость в окне:

праздник — полкило сарделек,
на бутылке щит,
и мычит чего-то телек,
видик верещит.

После стольких лет утруски
что ответишь тут
на простой вопрос по-русски:
как тебя зовут?

1997

«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

Я книгу нашел! Там в какой-то столовой,
прохладной, как ухо врача,
возилось чудовище тучи лиловой,
вспухая, вздыхая, ворча,

там сколько могли от больного скрывали,
что пульса и музыки нет.
Настройщик порылся, порылся в рояле
и вытащил черный предмет —

и вдруг окатило всех мокрой сиренью,
и вспыхнул на маковках крест,
и новые власти прочли населенью
такой золотой манифест,

что в даль протянулись растений волокна
и птицей запрыгала близь,
и все отраженные зеркалом окна
на книжной странице зажглись.

БЕГЛОСТЬ

Педали пели: да!
и клавиши визжали,
как будто вдруг беда
и с дачи уезжали.
«Ну, всё, иди... вернись!»
Стучали в двери ванной.
По лестнице вверх-вниз,
по деревянной.

Как кожан чемодан!
Как денежка бумажна!
«Не знаю, чем отдам...»
«Отдашь, не важно».
Неси меня, такси,
вдоль хляби моря,
так удирает си
от ля-бемоля.

Нет нот, но ты не те-
ург. Ты не Скрябин.
Пусть не на той плите
этюд состряпан,
пусть серою вонял
пыл пекл,
но весел был финал,
был бегл.

ПАМЯТИ МИХАИЛА КРАСИЛЬНИКОВА

Песок балтийских дюн, отмытый добела,
еще хранит твой след, немного косолапый.
Усталая душа! спасибо, что была,
подай оттуда знак — блесни, дождем покапай.

Ну, как там, в будущем, дружище футурист,
в конце женитьб, и служб, и пересыльных тюрем?
Давай там встретимся. Ты только повторись.
Я тоже повторюсь. Мы выпьем, мы покурим.

Ведь твой прохладный рай на Латвию похож,
но только выше — за закатными лучами.
Там, руки за спину, ты в облаке бредешь,
привратник вслед бредет и брякает ключами.

18 сентября 1997

ЖЕЛЕЗО, ТРАВА

Во травы наросло-то, пока я спал!
Вон куда отогнали, пока я пригрелся, —
пахнет теплым мазутом от растресканных шпал,
и не видно в бурьяне ни стрелки, ни рельса.

Что же делать впросонках? Хватить ерша —
смеси мертвой воды и воды из дурного копытца?
В тупике эволюции паровоз не свистит, и ржа
продолжает ползти, пыль продолжает копиться.

Только чу! — покачнулось чугунной цепи звено,
хрустнув грязным стеклом, чем-то ржавым звякнув железно,
сотрясая депо, что-то вылезло из него,
огляделось вокруг и, подумав, обратно залезло.

20 сентября 1997

НОРВИЧ, 1987–1997

Жертва козней собеса, маразма, невроза
в сальном ватнике цвета «пыльная роза»,
с рюкзаком за спиной, полным грязного хлама,
в знойный полдень проходит под окном моим дама.
Так задумчиво, что и жара ей не в тягость.

Десять лет (т. е. лет — с июня по август)
после утренних лекций под окном ровно в полдень
наблюдал я цветочек этот Господень.
Будь я Зощенкой, Шварцем или Олешей,
я б сумел прочитать в этой всаднице пешей,
в этом ангеле, бледном от серого пота,
сладкозвучный оракул: «Нищета есть свобода».

Только где те писатели? где тот оракул?
где то чтение знаков? где тот кот, что наплакал
веры? Нету. Писатели тихо скончались.
Вместе с ними религия, психоанализ,
символизм и вермонтская летняя школа.
Лишь осталась картина, на манер протокола —
занесенная в память: «Я и старая дама».

Обрамляет картину белая рама
от упавшего в прошлое чужого окна.

И другая картина пока не видна.

6 января 1998

25 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

В сенях помойная застыла лужица. В слюду стучится снегопад.
Корова телится, ребенок серится, портянки сушатся, щи кипят.

Вот этой жизнью, вот этим способом существования белковых тел
живем и радуемся, что Господом ниспослан нам живой удел.

Над миром черное торчит поветрие, гуляет белая галиматья.
В снежинках чудная симметрия небытия и бытия.

25 декабря 1997

III

СОРОКОВОЙ ДЕНЬ

Иосиф любил вспоминать, как однажды в юности он вернулся домой из каких-то романтических скитаний, грязный, небритый и, наверное, с тем рассеянным выражением на лице, которое так огорчает родителей непутевых подростков. Отец сделал жест в его сторону и воскликнул с ироническим восторгом:

— Полюбуйтесь, гражданин мира!

Это выражение хорошо помнили в те времена в еврейских интеллигентных семьях. Особенно в его греческой форме: космополит. Еще недавно, при Сталине, «безродными космополитами» пропаганда называла евреев и делала это так, что под евреями можно было понимать всех, кто ценит свободу личности и общечеловеческую культуру. Словосочетание долго вдалбливали в советские головы, и оболваненные люди полагали, что «безродный-космополит» — это единое слово, понятие, как «перекати-поле». Александр Иванович Бродский был из тех немногих, кто еще помнил подлинное значение слова. Его сыну предстояло стать первым в двадцатом веке русским по рождению гражданином мира. (Слава Богу, отец прожил достаточно долго, чтобы это увидеть.)

Гражданином мира делает человека принадлежность к мировой культуре. Так, по крайней мере, объясняет нам Достоевский: «Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия» («Подросток», ч. 3, гл. 7, III). То есть Версилов у Достоевского космополит, но не безродный. Он родину, Россию, любит очень сильно, но Венеция ему милее. Так и Бродский никогда не забывал, что он

> ...родился и вырос в балтийских болотах, подле
> серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
> и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
> вьющийся между ними...

Ни в чем мы так не расходимся с другими, как в оценке собственного голоса. Они, другие, слышат его в акустике комнат и улиц и пр., а мы всег-

да под сводами собственного черепа. Поразительно, что Иосифу собственный голос казался «блеклым». При том, что он писал это, уже прочитав, как высказалась о его голосе Н. Я. Мандельштам. Ядовитая скептическая писательница, о неповторимом голосе Бродского даже она написала с удивлением и восторгом: «Это не человек, а духовой оркестр...»

Должен признаться, что на меня голос Иосифа всегда производил отчасти гипнотическое воздействие. Раздавался звонок, я говорил свое «Алло», он по общепринятому телефонному зачину произносил мое имя со слегка вопросительной интонацией. Обычно он использовал форму, которую мы почему-то называем уменьшительной, хотя она по числу слогов в три раза длиннее паспортного имени: «лёшечка». Звучало это, однако, совсем не как «ложечка», «кошечка» или «чашечка», а скорее как начальный аккорд оркестровой пьесы — в основном струнные, но слышны и духовые. Последний слог звучал как рыболовный крючок (наплевать, что метафора нелепа), на который я и попадался. Гипнотизм заключался не в том, что я впадал в какой-то там транс, муть и беспамятство. Напротив, счастье разговора с Иосифом состояло прежде всего в ясности беседы, «озарявшей все углы сознанья». К тому же по большей части он звонил, чтобы почитать стихи — свои или полученные от Уфлянда. Только повесив трубку, не сразу, иногда много позже, я вспоминал, что Иосиф так и не ответил на такие-то и такие-то казавшиеся мне важными вопросы. Более того, что я их не задал, хотя собирался задать обязательно. Иначе как сверхъестественной способностью блокировать в сознании собеседника неинтересные ему, Иосифу, темы я это объяснить не могу.

В определенном возрасте становится страшно поднимать телефонную трубку: вместо неповторимого голоса можно услышать другой, который сообщит о смерти. И что меня дернуло лет десять тому назад закончить маленькое стихотворение, посвященное ирландскому виски «Bushmills» (мне когда-то присоветовал его Иосиф), так:

А чем прикажешь поминать —
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит?

(Вообще я не суеверен и не люблю натянутых совпадений. Первого февраля перед заупокойной службой мы читали в бруклинской церкви стихи Бродского. Я выбрал «Сретенье». Потом мне кто-то сказал, что пер-

вое февраля по старому стилю как раз и было бы Сретеньем. Я после проверил в православном календаре — не совсем так, это будет в следующем веке, когда юлианский и григорианский календари разойдутся еще на один день. Кстати, листая календарь, я решил заодно посмотреть, какого святого празднует восточная церковь в день рождения Иосифа, 24 мая. Оказалось, что не одного, а двух — Кирилла и Мефодия.)

Умолкнувший голос — вот как мы осознаем смерть близкого человека.

Умолк вчера неповторимый голос
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь, —

так оплакивала Ахматова Пастернака. Нигде у Бродского его представление о взаимоотношениях человека и Всевышнего не выражено так непосредственно, как в стихах «На столетие Анны Ахматовой».

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

Сложный синтаксис последней строфы приходится расшифровывать нерусским читателям, но это поразительно красивая каденция, и в звуковом отношении, и в семантическом — строфа начинается с души, кончается Вселенной, и в середине этого космоса русская земля, в которую зарыто тело Ахматовой. Бродского кое-кто не без эпатажа, но и не без проницательности сравнивал с Маяковским. Сходство, видимо, в космической устремленности поэтической мысли, метафоры. Глухонемую вселенную мы помним и у Маяковского, глухую — у Пастернака. Но там она

молчит, потому что действительно, чтó ей, Вселенной, ответить на инфантильные шуточки: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» Бродский, напротив, никогда не бывал так серьезен, как здесь, когда он говорит, что поэт озвучивает, осмысливает Вселенную словами прощенья и любви.

(Знакомый журналист рассказывал мне, как он брал интервью у Татьяны Яковлевой, которая знала если не всех великих людей двадцатого века, то, по крайней мере, тех из них, кто бывал в Париже или в Нью-Йорке, т. е. почти всех. Неожиданно она сказала: «Но настоящих гениев я встречала в жизни только двух — Пикассо...» Спрашивать, кто второй, у женщины, вошедшей в историю литературы как великая любовь Маяковского, мой знакомый не счел нужным, но она закончила фразу: «...и Бродский».)

Американский литературовед Дэвид Бетеа назвал свой труд «Иосиф Бродский и создание изгнания». По-русски звучит нехорошо (может быть, «сотворение чужбины»?) Под «изгнанием» автор имеет в виду не просто вынужденную жизнь вдали от родины, а нечто большее — изгойство, отдельность большого художника не только от своего народа, но и от всякой системы человеческих отношений, за исключением языка, и он прав в основном тезисе: Бродский сам был творцом своей литературной и человеческой судьбы. Парадокс, вернее, драматизм творчества Бродского состоит однако, в том, что сквозь «целый мир — чужбину» у него постоянно сквозит «целый мир — родина». Это проявляется в очевидно невольных перекличках разделенных годами текстов. «Громады зданий, лишенные теней, с окаймленными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым сервизом», — писал он о Ленинграде, и много лет спустя он пишет о Венеции: «Зимой просыпаешься в этом городе, особенно по воскресеньям, под звон бесчисленных колоколов, как будто за тюлем твоих занавесок в жемчужно-сером небе дрожит на серебряном подносе громадный фарфоровый чайный сервиз».

Смерть — это то, что бывает с другими, —

писал Бродский в молодости, завершая, формулируя с лапидарной окончательностью этот мотив из русской философской традиции. У Толстого это отказ Ивана Ильича подставлять себя в силлогизм: все люди смертны; Кай — человек; следовательно, Кай смертен. Бахтин говорил: «…о другом... пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими заполнены все кладбища».

Но «другость» других подлежит преодолению.

В последней книге Бродского, «О скорби и разуме», есть удивительное эссе — «Письмо к Горацию». Читая его, невозможно избавиться от ощущения, что обращение к римскому поэту не прием, что писавший действительно верил в то, что обращается к Горацию. И одновременно к другому любимому поэту — Одену, поскольку среди прочего в письме излагается странная идея метемпсихоза: Оден — воплощение Горация в двадцатом веке. Представление об избирательном сродстве вплоть до полной слитности было глубоко укоренено в поэтическом сознании Бродского. «Мы похожи; / мы в сущности, Томас, одно...» — писал он, обращаясь к литовскому другу-поэту. Смерть не разбивает такого рода отожествлений. Сам Бродский, цитируя «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, / Как заведомо пустые сплёты», пишет, что «Цветаеву всегда следует понимать именно не фигурально, а буквально — так же, как, скажем, и акмеистов». Цветаева «не фигурально, а буквально» обращалась в 1927 году к умершему Рильке, а Оден в 1936 году к лорду Байрону.

Через сорок дней после Рождества отмечается Сретение, внесение младенца Христа в храм. Через сорок дней после смерти человека, согласно традиции, душа его окончательно переселяется в горний мир. «Да отверзется дверь небесная днесь...» — говорится в сретенском богослужении, а любимый Иосифом Марк Аврелий писал так: «Подобно тому как здесь тела, после некоторого времени пребывания в земле, изменяются и разлагаются и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразному разуму Целого...».

Иосиф откликался на это «освобождением клеток от времени». Небеса, воздух и воспарение души, неотделимое от личной смерти: от «Большой элегии Джону Донну» (едва ли и не раньше) — это постоянный мотив в поэзии Бродского. Его чистейшее воплощение — «Осенний крик ястреба». Минуя богатую русскую и европейскую традицию развития этого мотива, Иосиф отталкивается от первоисточника, от Горациевой оды (Оды. Книга 2, Ода 20):

Уже чую: тоньше становятся
Под грубой кожей скрытые голени —
Я белой птицей стал, и перья
Руки и плечи мои одели.

Летя быстрее сына Дедалова,
Я, певчий лебедь, узрю шумящего
  Босфора брег, заливы Сирта,
    Гиперборейских полей безбрежность.

Меня узнают даки, таящие
Свой страх пред римским строем, колхидяне,
  Гелоны дальние, иберы,
    Галлы, которых питает Рона.

В «Письме к Горацию» Бродский говорит: «В то время, когда Вы это писали, у нас, видите ли, еще и языка-то не было. Мы еще не были мы, мы были гелоны, геты, будины и т. п., просто пузыри в генетическом котле нашего будущего». Сходно откликался на Горация Пушкин: «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус...» Так сложилось, что в последние недели жизни Бродский много думал о Пушкине.

(Почему у меня не получается писать о тебе в жанре некролога или причитания? Почему эти заметки отдают «литературоведческим» материалом? Один из твоих любимых рассказов: «Умерла пожилая преподавательница ленинградского филфака И. На похоронах попросили выступить ее ближайшую подругу. Старушка долго не могла начать от душивших ее слез. Потом прерывающимся голосом сказала: „Любовь Лазаревна была замечательным человеком... Всю жизнь она посвятила изучению английских неправильных глаголов...“ И тут голос ее стал крепнуть: „Английские неправильные глаголы можно разделить на следующие три основные категории...“».)

Так сложилось, что в последние недели жизни Бродский перечитывал Пушкина. В предпоследнем нашем телефонном разговоре он говорил о прозе Пушкина, объяснял ее стиль «изнутри», от психомоторики — движения пера с быстро на нем сохнущими чернилами по бумаге, соотносил краткость пушкинской фразы с небольшой шириной писчего листа. Об этом же он написал интересное письмо своему орегонскому другу Джиму Райсу. Выкладывал по телефону те же соображения Петру Вайлю. У Вайля Иосиф спросил, помнит ли он слова, которыми начинается «История села Горюхина», и, веселясь, процитировал: «Если Бог пошлет мне читателей...»

5 марта 1996
(«Новое русское слово», 8 марта 1996)

Sisyphus Redux

1997–2000

Тяжко Сизифу катить камень на гору крутую.
То-то веселье зато с горки за камнем бежать!

* * *

А в будущее слов полезешь за добычей,
лишь приоткроешь дверь, как из грядущей тьмы
кромешный рвется рев — густой, коровий, бычий
из вымени, мудей, из глыбы слова «мы».

1998

БОРМОТАНЬЕ БУКСИРА

(Провинция с бубенцами во сне —
от цыганских роз коренник ошалел.)

(Венеция, где и я в цене —
academico russo Alyosha L.)

Главный город лиловых небесных чернил,
чернильницы в золотых куполах
плюс гранитных ступенек и чугунных перил
товарищество на равных паях:
мелкий пай волны, битый пай кирпича,
золотой взнос копейки, пай бутылки пивной.

Вот буксир, под нос себе бормоча,
пашет волны, смыкающиеся надо мной.

WHISKEY SONG
(перевод вольный)

Я выпил много вина.
Внизу дорога была видна.
А за нею бесстрастно почву собой заменяли
те, кто это пространство до нас занимали.

В вечернем свете кладбище тонет.
На целом свете ничего нет
мокроватей, замшелей, шероховатей
спинок мраморных в землю ушедших кроватей.

Заря окошко вдруг подожгла.
Чужая кошка к нам подошла
и на нашей скамье разлеглась блядовито,
как мадам Рекамье на картине Давида.

ПРОГУЛКИ С ЕРЁМИНЫМ

Как восьмое чудо мира
украшает град
храм Кузьмы и Казимира —
сфера и квадрат.

Иногда оттуда птица
прилетает в сны,
приглашает причаститься
белой белизны.

Мы тогда шагаем складно
по граниту плит.
По реке плывет эскадра,
пушками палит.

Горизонт наш кругл и вогнут,
широка река,
и пучок моркови воткнут
в лацкан сюртука.

ПРОГУЛКИ С ГАНДЛЕВСКИМ

Сергей, я запомнил татарский Ваш двор,
извилистый путь с Якиманки
и как облегчался Ваш белый боксер
под звуки «Прощанья славянки».

Так с медью мешалась апрельская муть,
так толстые трубы сопели,
как будто в тринадцатый год улизнуть
мы с Вами в апреле сумели —

с татарских задворок, от черных ходов,
где ветром облизана наледь,
под пристальным взглядом помойных котов
удрать, леваку посигналить

и, лихо по лужам к Трубе подруля,
в трактире пузырь раздавивши,
мы птиц выпускали — ценой от рубля
и выше, и выше, и выше.

НОЧЬ

Нет чтоб мягко мерцала нам Вега,
обвивались вьюнки по лучам...
Неспокойный самец человека
с горстью света рычит по ночам.
(Он зовет себя Ангелом Ада.
Веет с поля ночная прохлада.)

Где-то близко, но где его стая?
Ищет он, не находит никак,
между ног свой большой ощущая
мотоцикл, прободающий мрак.

* * *

Искать адреса не по плану, а по роману
Достоевского — топография пойдет веером.
Та улица станет неприлично коротка,
а та удлиняется, удлиняется, дура,
и одно преступление происходит сразу по трем адресам.

Так наз. реальность
оборачивается срамом.

Мы хотели увидеть панораму
Дельфта, увиденную Вермеером.
Но не туда текла река,
параллельные улицы пересекались, архитектура
отряхивала готику, и стало ясно,

что увидеть Вермеерову панораму рая
можно, только грохнувшись перед несуществующим
в Петербурге храмом.

ИЮНЬ 1972 ГОДА

Тлели кнуты, плавились пряники.
Толковища наши стали тишать.
Горели в округе леса и торфяники.
Нечем стало дышать.

Жару объясняли протуберанцами,
происками ЦРУ из озоновых дыр,
а интеллигенция — засранцами
типа Брежнева и др.

Из вокзала плацентой из роженицы
с копейками, слипшимися во рту кошелька,
брели туда, где на месте мороженицы
сладкая лужица молока.

Что делать в стране, покинутой гением?
Вдавливаться с обрубком толпы
в красный трамвай, где по сидениям
ползут клопы.

Активность солнца. Пассивность нации.
Клопов мутации. Мусора
в серых мундирах прилипли к рации.
Период стагнации. Жара.

TO COLUMBO

Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu'en son appartement,
Un beau chat...

Baudelaire

Научи меня жить напоследок, я сам научиться не мог.
Научи, как стать меньше себя, в тугой уплотнившись клубок,
как стать больше себя, растянувшись за полковра.
Мяумуары читаю твои, мемурра
о презрении к тварям, живущим посредством пера,
но приемлемым на зубок.

Прогуляйся по клавишам, полосатый хвостище таща,
ибо лучше всего, что пишу я, твое шшшшшшщщщщщщ.
Ляг на книгу мою — не последует брысь:
ты лиричней, чем Анна, Марина, Велемир, Иосиф, Борис.
Что у них на бумаге — у тебя на роду.
Спой мне песню свою с головой Мандельштама во рту.

Больше нет у меня ничего, чтобы страх превозмочь
в час, когда тебя за полночь нет и ощерилась ночь.

ИГРА СЛОВ С ПЯТНОМ СВЕТА

I

Я не знал, что умирает. Знали руки, ноги, внутренние органы,
все уставшие поддерживать жизнь клетки тела. Знало даже
сознание, но сознание по-настоящему никогда ничего не знает,
оно только умеет логизировать:
поскольку сердце, желудок, большой палец правой ноги и проч.,
подают такие-то сигналы,
можно сделать вывод, что жизнь данного тела близится к концу.
Однако все части тела,
в том числе и производящий сознание мозг,
были не-я.

II

Я нематериально, не связано непосредственно
с телом и поэтому не может ощущать умирания и
верить в смерть. Я —
перемещающаяся мимолетная встреча разных импульсов
мозга, яркая световая
точка в пересечении лучей.
(Или тусклая.)
Голограмма? Нет, точка, пятно
света, потому что не имеет определенного образа. Я
нематериально, не имеет своего образа, как невидимый звук j
в слове/букве Я.
Заврался.
Отчего ж невидимый? В кириллице наклонная палочка
в Я (вертикальная в Ю) и есть j.
Палочка, приставленная к альфе, — Я.

Палочка, приставленная к ОУ, — Ю.
(Две потерянные над этими йотами точки ушли в Ё.)

III

Что, сынку, помогла тебя твоя метафора? Нет,
не помогла. Метафора всегда заводит в болото.
Но другого Сусанина на нас нет.

IV

«Я, я, я»
ужаснувшегося Ходасевича — jajaja — визг:
айайай!

V

Как в школе.
«Спорим, что не сможешь сказать „дапис“ десять раз
подряд и не сбиться».
Как дурак доказываю, что могу.
«Александра Марковна, а Лифшиц ругается!»

VI

«Серо-желтого, полуседого...»
Из зеркала на поэта смотрят звуки
уже еле шелестящего имени —
как тут не завизжать от тоски: ай-ай-ай!
Ай — это английское я, I, — вот она, вертикаль-то.
Только здесь α невидима.
Русское я — йа.
Английское I — ай.
йа/ай.
ja/aj.
Желая вы-
разить, себя человек выдавливает самый нутряной
из звуков: jjjjjj.

После такого усилия как не вздохнуть самым легким
из звуков: аааааа.
А можно наоборот: легкое а закрыть внутренним j.
Русское я открывается наружу, английское I замыкается в себя.
Вот мы и снова вляпались в чушь.

VII

Лучше вернуться к неверному
световому пятну.
Попляшет, подрожит ни на чем не держащееся,
и нет его. Совсем нет?
А отпечаток света на сетчатке другого?
Другой закроет веки, и вот он,
тот свет я.
Откроет, еще раз закроет, тот свет слабее.
Проморгается — и нет
отпечатка.
Ничего нет, кроме темноты. А в ней,
уж точно, ни альфы, ни йота.
Только слоги *тем*, но и *ты*.

ТОВ. ПОСКРЁБЫШЕВУ: РАЗОБРАТЬСЯ

Недаромвнашвеселыйшумныйкубрик-
старшинагармоньпринес.
Дайте рублик —
дрожу, как пес.

Тоска
бьет с носка.
Вчера мне дали два куска
чего не помню. Но не мыло.
Что это было?

Какие-то люди ходят, глядя,
как какой-то бляди подносят на блюде
чью-то голову.

Напраснодевушкионасгор-
иллка — напиток для горилл.
Так говорил За-
лотыесветятогоньки.

Отвесив челюсти, народ глазеет с пляжа:
так вот как добывают маргарит!
Уходит пóд воду обломок фюзеляжа,
уже он тонет, но еще горит.

КАК ТРУП В ПУСТЫНЕ
(*июнь 1959*)

Плясали мысли в голове,
а сапоги и галифе,
казалось, шли вприсядку.
Я принимал присягу.

Слова я мямлил не свои.
Я жало мудрыя змеи
желал обресть устами.
Но нет его в уставе.

А белизна с голубизной
не сжаливались надо мной,
не слали Шестикрыла.
Кругом — свиные рыла.

А самый крупный мелкий бес
с оружием наперевес
стоял фланговоправым
под флагом, под кровавым.

И я, взглянув на эту гнусь,
молча поклялся: «Не клянусь
служить твоим знаменам,
проклятьем заклейменным.

Не присягаю, Сатана,
тебе служить, иди ты на...
Карай меня, попробуй,
тупой твоею злобой!»

Как труп, застывший на посту,
безмолвную присягу ту
я принял там, в пустыне,
и верен ей поныне.

НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

Подошла к кольцу двадцатка.
Валит белый снег.
Остановка. Пересадка
в двадцать первый век.

Только кто-то вот не вышел,
не успел, уснул...
Ну, а ты средь тех, кто выжил,
в новый век шагнул.

Но, с толпою на посадку
поспешив, дружок,
встань на заднюю площадку,
продыши кружок.

Видишь, старый век, как Китеж,
тонет позади?
Погляди, покуда видишь.
Да и потом — гляди.

29 декабря 1999

СЛОВА ДЛЯ РОМАНСА «СЛОВА» № 2

Чего их жалеть — это только слова!
Их просто грамматика вместе свела,
в случайную кучу свалила.
Какая-то женщина к ним подошла,
нечаянной спичкой слова подожгла,
случайно спалила.

И этим мгновенным, но сильным огнем
душа озарилась. Не то что как днем —
как ночью, но стало судьбою,
что выросла тень моя и, шевелясь,
легла на деревьев ветвистую вязь,
на тучи, на звезды, пока не слилась
со тьмою.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гитары струнной не имея,
играть на оной не умея,
я посвящаю этот гимн
Вам, музыкальный Юлий Ким.
N.

Она не хотела и он не хотел,
а вот неприличные части их тел
чего-то такого хотели.
Чего бы, на самом-то деле?

И чтобы Они их с ума не свели,
они Их на мягком диване свели
в гостиной, в углу, под часами.
Пускай разбираются сами.

И маятник медный туда и сюда,
как пристав судебный по залу суда,
что черных чернил накачался,
качался, качался, качался,

качался, качался — упорная медь!
Часы вдруг задергались, стали хрипеть,
потом не сдержались, завыли
и били, и били, и били.

Одышка. Окошко в ночном серебре.
Слова начинались на се-, вре- и бре-,
кончались... Кончались на мя-то.
Недаром подушек намято.

И более вкривь, чем, не менее, вкось,
с тех пор двадцать трепаных лет пронеслось,
как плод, отрешенный от чрева,
пошел по рукам и налево.

«Кто в клетке железной, как птичка, сидит?»
«Отброс бесполезный, подлец и бандит».
«Пусть псы заливаются лаем».
«Сейчас мы его расстреляем».

Не знает судья, что она моя мать,
чеканит она приговор: «Расстрелять».
И радует звук приговора
отца моего, прокурора.

Художник! Вот серая краска, вот кисть.
Рисуй, как по-блядски короткая жизнь
кончается, как не бывала,
в тюремном бетоне подвала.

Тюремные стены. Бетонный подвал.
Туда меня вводит легавый амбал.
И хлопает выстрел контрольный,
неслышный уже и небольный.

ГУТТАПЕРЧА

Как осточертела ирония, блядь;
ах, снова бы детские книжки читать!
Сжимается сердце, как мячик,
прощай, гуттаперчевый мальчик!

«Каштанка», «Слепой музыкант», «Филиппок» —
кто их сочинитель — Толстой или Бог?
Податель Добра или Чехов?
Дадим обезьянке орехов!

Пусть крошечной ручкой она их берет,
кладет осторожно в свой крошечный рот.
Вдруг станет заглазье горячим,
не выдержим мы и заплачем.

Пусть нас попрекают сладчайшей слезой,
но зайчика жалко и волка с лисой.
Промчались враждебные смерчи,
и нету нигде гуттаперчи.

ИЗ ДОМА ТВОРЧЕСТВА
(*март 1971*)

Г. Ф. Комарову

Где ворованной музыкой вальса
композитор-жульман торговал,
киевлянин с бутылкой ховался,
а москвич над струной ворковал,
в дачной местности хлада и мрака,
честно названной — в честь комаров,
где однажды завыл, как собака,
сумасшедший писатель Петров,
от инфаркта я там поправлялся,
раз проснулся и понял — здоров.

От открытий подобного рода
в пальцах дрожь и в заглазии жар.
Я себя выношу за ворота,
весь стеклянный, как елочный шар.
Вышел, вольноотпущенник смерти,
под рассвет, догоревший дотла.
Мне сосна в золотом позументе,
став навытяжку, честь отдала,
да осин караульная рота
проводила меня до угла.

Покидаю убогие своды
Дома Творчества. Пусть их, творят.
За уход дарит долгие годы
мне старушечий триумвират.
Нить сучится, длинна и сурова.

Музы трогательна нагота.
Покидающие Комарово
не оглядываются никогда,
слыша ласковый шепот свободы:
«Дом родной потерять — не беда».

ЗВУК И ЦВЕТ

Осень — время желтых, красных
гласных. Нет, на всё — согласных,
шелестящих деловито
на задворках алфавита
звуков жалости, печали
и ухода.

«Вы слыхали?
Он оделся, он обулся,
он ушел и не вернулся.
Был, как не был, человек».

Вороватый шелест пульса.
Красный свет под синью век.

* * *

Поезд ползет через луг, сипя.
Дождь-моросец растрепал стожок.
Надо бы про господина Себя
жалостный сочинить стишок.

Осенью для охлажденья лбов
окна годятся, и я не спешу
сочинять про госпожу Любовь
и про еще одну госпожу.

Ну, сочинитель, чини, чини.
Старые строчки латай, латай.
Чего ни скажи в такие дни,
выходит собачий как будто лай.

Выходит лай и немножко вой,
как будто душу освободил
от слов один господин неживой,
господин один, один господин.

РЕФОРМАТОР

Вроде как Моисей из пустыни,
вывел он прихожан из латыни,
рассадил по немецким скамьям.
Черным кофе и булочкой сдобной
отдавал его ямб пятистопный,
зарифмованный ямб, ямб как ямб.

Представляете — маленький Лютер.
Рядом с мальчиком Vater und Mutter.
Где-то сонно гнусавит прелат.
Но цветной вдруг врывается ветер,
загораются Paul und Peter,
сердоликом одежды горят,

аметистом, рубином, смарагдом.
Благовонием рая и смрадом
преисподней бросает в дрожь.
Индульгенцией не упасешься.
Дуй на кофе — а то обожжешься.
Хлеб преломишь — иголку найдешь.

ПОЧЕРК ДОСТОЕВСКОГО

С детских лет отличался от прочих
Достоевского бешеный почерк —
бился, дергался, брызгался, пер
за поля. Посмотрите-ка письма
с обличеньем цезаропапизма,
нигилизма, еврейских афер,
англичан, кредиторов, поляков —
частокол восклицательных знаков!!!
Не чернила, а чернозем,
а под почвой, в подпочвенной черни
запятых извиваются черви,
и как будто бы пена на всем.

Как заметил со вздохом графолог,
нагулявший немецкий жирок,
книги рвутся и падают с полок,
оттого что уж слишком широк
этот почерк больной, allzu russisch.

Ну, а что тут поделать — не сузишь.

МЛАДШАЯ ШКОЛА I

мама мыла мало мяла
будто б жизнь опять сначала.
Снова тот же детский бред.

Хорохорится, храбрится
марш училкин из Freischütz'a
и на Лифшица косится
Вагнера косой берет.
Говорит Царевна-Лебедь:
3 в квадрате будет 9.
На простой вопрос «Что делать?»
Ленин даст прямой ответ.

Из уборной запах хлорный.
Вверх царевич прет упорный.
По доске сухой и черной
мел крошащийся скворчит.
Чехов угощает чайкой
злоумышленника с гайкой,
и «Пошел!», привстав с нагайкой,
ямщику жандарм кричит.

Осаждают греки Трою.
За окном скрепленный кровью
храм. Сейчас глаза закрою
и увижу, как засну:
над рекою, над стеклянной
на заставе деревянной
пограничник оловянный
стережет мою страну.

МЛАДШАЯ ШКОЛА II

От библиотечной лесенки витой
до соснового зноя лета
двадцать тысяч лье под водой.
Ах, если бы только это!

Блики бьют, глядящего в воду слепя.
Заподлицо с водою терраса.
Здесь почти не выходит река из себя,
за столетие два, ну, три раза.

Команда растеряна — как плыть без звезд!
Не угробить бы нам «Наутилус».
Под водой непонятно, где вест, где ост.
Но потом ничего, научилась.

Капитан-индус бродит в белом белье,
мы его не видали одетого.
И не знает никто, что такое «лье».
Ах, если бы только этого!

СВОБОДА И ГЛАЗА
(*Басня*)

Свободы Сеятель Пустынный
и Странный Сеятель Очей
зашли однажды в Двор Гостиный
купить вина и калачей.
«Зачем зашли мы в этот Зал?» —
Пустынник Страннику сказал.
А тот подпрыгнул и завыл:
«Забыл, забыл, забыл, забыл!»

Мораль не худо бы напомнить
для всех, желающих наполнить
себя Вином и Калачом:

Алцхеймер знает что почем!

НОСТАЛЬГИЯ ПО ДИВАНУ

На дива... эх, на дива... эх, на диване...
Г. Горбовский

Осетринка с хренком уплыла
вниз по батюшке по пищеводу.
Волосатая пасть уплела
винегрет, принялась за зевоту
с ароматцем лучка да вина,
да с цитатами из Ильина.

Милой родины мягкий диван!
Это я, твой Илюша Обломов.
Где Захар, что меня одевал?
Вижу рожи райкомов, обкомов
образины, и нету лютей,
чем из бывших дворовых людей.

Это рыбка с душком тянет вниз.
Тяжкий сон. Если что мне и снится,
то не детства святой парадиз,
а в кровавой телеге возница
да бессвязная речь палача,
да с цитатами из Ильича.

Не в коня, что ли, времени корм,
милый Штольц. Только нету и Штольца,
комсомольца эпохи реформ,
всем всегда помогать добровольца.
Лишь воюют один на один
за окошком Ильич и Ильин.

Где диван? Кем он нынче примят?
Где пирог, извините, с визигой?
Где сиреней ночной аромат?
Где кисейная барышня с книгой?

. . . .

В тусклом зеркале друг-собутыльник,
не хочу я глядеть ни на что.
Я в урыльник роняю будильник.
Разбуди меня лет через сто.

СТОП-КАДР

Где это было? В каком-то немецком — как его там? — городке.
Скверный прохожий в костюмчике мерзком с пуделем на поводке,
он обратился ко мне на неместном, т. е. моем, языке.

Так предлагают украденный кодак, девку на вечер, порно.
Тоже находка! Подобных находок в уличной давке полно.
Шепот вонючий был жарок и гадок, я отвернулся бы, но

я вообще не люблю продолженья, знанья, что будет потом.
Вот и кивнул на его предложенье. Пудель подергал хвостом.

Черной спиралью застыло круженье ласточек в небе пустом,
в неизменяемом небе закатном звук колокольный застыл,
замерли стрелки часов.

А за кадром — солнце пускалось в распыл,
стрелки часов по обычным законам двигались. Колокол бил.

Жизнь продолжала гулять, горлопанить, крыть, не терять куражу,
далью манить, алкоголем дурманить, счет предъявлять к платежу.
Всё, что сберег я, — открытку на память. Что потерял — не скажу.

РУЖЬЕ
Петербургская поэмка*

С любовью и благодарностью посвящается
гражданину петербургской Коломны
Владимиру Васильевичу Герасимову

* Определение жанра заимствовано у И. Ф. Карамазова.
«Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике...» П. В. Анненков. *Литературные воспоминания*. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960. С. 76.

I. Бланманже не кушал-с

Поэты часто сходят за богов,
поскольку в Нечто оформляют Хаос.

Аркадий сын Аркадьев Сапогов
пешком на службу бегал, задыхаясь.
Мороз крепчал. Отдельно нос синел.
Он тер его разорванной перчаткой.
Вбегал в присутствие. Скидывал шинел.
(Неважно, оставляем с опечаткой;
что нам шинель! поскольку наша цель
есть цель ружья, отнюдь не цель шинели*.)

(Попытка портрета Сапогова)

...А что касается волос,
стояли волосы высо́ко,
так в октябре стоит осока,
когда ее сребрит мороз;
и локон лодкою на лоб
вплывал. Неспешно Хронос греб,
он по щекам раскинул сети
морщин...

Нет, волосы, как дети
стояли, как церковный хор;
и к небу золотой вихор

* А на вопрос «Как сделана шинель?» любой дурак ответит в самом деле. Известно как: берется рыбий мех и сквозь неведомые миру слезы простегивается видный миру смех бессмыслицы, поэзии и прозы.

взвивался, словно аллилуйя —
ликуй, Исайя, наповал!
Рождался ангел поцелуя
в губах. Исайя ликовал.
Надбровья светом окрылялись...

Нет, это чертики кривлялись,
в остывших копошась углях
глаз, стыли слюнкою в углах
губ и тянули книзу губы.
Гноясь, инкубы и суккубы
слепляли перепонки век...

Невзрачный, в общем, человек:
прическа, нос, с боков два уха —
лица двуспальная кровать...

А страстные боренья духа
никак мне не зарисовать!

Нет, не могу. Читатель, не взыщи.
Но опишу убогий быт героя.

День изо дня ел со снетками щи.
Снетки из щей обычно на второе.
А на десерт заместо бланманже
работа сверхурочная. Одежда
нас навела б на мысли о бомже,
хотя водились денежки. Но те, что
водились, он не тратил ни на что,
кроме снетков (1/2 фунта на неделю).
Копил копейки. Накопивши сто,
менял на рубль и прятал под постелю.
Печь не топилась. Мёрз. Но сто рублей
когда под тюфяком-то накопилось,
как будто стало в комнате теплей,
как будто печь немножко, но топилась.
Во сне не видел женщин никогда.
Ему иное грезилось и снилось:

Безбрежная открытая вода,
и Нечто над безбрежностью носилось.

Он, в сладкое виденье погружен,
не ласковым туда тянулся взором,
а дорогим ланкастерским ружьем,
прямым стволом с дамасковым узором*.
С летающим! высóко! над водой!
соединиться в громовом разряде!

Как не пожертвовать жильем, шмотьем, едой?
Да кто б не отдал всё такого ради?**

II. «Blasted Russian»
(*Письмо*)

Old chap, I'm writing this from a wretched land,
Where th'earth is flat and skies above are ashen,
Where men and bread are sour and ladies bland,
Where all speak French that sounds like blasted Russian.
For a fresh scone and thimbleful of trifle
I'd gladly give their weight in solid gold
Or give away my most expensive rifle,
Which, by the way, this afternoon I sold.***

---

* Канал конический, рассверленный с напором, с суженьем дула, так сказать, «чок-бором», боёк стальной пружинкой напружён (см. «Ручное огнестрельное оружие». Энциклопедический словарь, изд. Брокгауз и Ефрон. Т. XXVII, С.-Петербург. 1899. С. 378–379).

** «...страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности...». *Анненков*. С. 76–77.

*** Перевод: «Старина, я пишу тебе из жалкой страны, где земля плоска, а небо над ней пепельно, где мужчины и хлеб кислы, а дамы пресны, где все говорят на французском, который звучит как проклятый русский. За свежий „скон“ [сладкая булочка из содового теста] и наперсток „трайфл“ [традиционный английский десерт, состоящий из бисквита, фруктов и взбитых сливок] я бы с радостью заплатил столько, сколько они весят, чистым золотом или отдал бы самое дорогое из моих

Уж я не чаял, что его продам,
ланкастер сей при штуцерной нарезке.
А я за ним сам ездил в Бирмингам,
сам рисовал граверу арабески,
я сам для ложи подбирал сандал,
чтоб был он красновато-темно-розов.
Я полагал, что верно угадал
заветные желанья русских крёзов.
И что ж? Был при ружье что сторож я.
Толпились покорители чухонцев,
любуясь славной выделкой ружья,
но не спеша излить поток червонцев.
Раз даже заходил Великий Князь,
поднес к плечу, зачем-то в дуло дунул,
обследовал замок и, приценясь,
полез в карман... вздохнул и передумал.
А тут, представь, заходит нищеброд,
оборван так, что и смотреть-то стыдно,
и, гоголем, сам черт ему не брат,
хватает, не спросясь, Ружье со стенда.
Я рот открыл, чтоб заорать: «Police!»,
но тут — я, ужасаясь, восторгаюсь! —
бедняк в обтерханный карман полез
и выложил всю Сумму, не торгуясь.
It drives me mad, this topsy-turvy region,
Where the nights are white and the tyrants nicknamed «Great»,

---

ружей, которое, кстати, я продал сегодня днем». Дальнейший текст письма по причинам, изложение которых заняло бы здесь слишком много места, дается в русском переводе.

«Любя Российских Муз, я голос их внимаю
И некие слова их часто повторяю,
Как дальний Отзыв, я не ясно говорю:
Кто ж может мне сказать, что я стихи творю».

Четверостишие, написанное кардиналом Меццофанти по-русски. *Анненков*. С. 101.

Where fellows call each other «my grey pigeon»,
And beggars clad in rags luxuriate.

Your Friend,
Plincke
Nevsky 16, St. Petersburg*

III. Блаженство и несчастье

Как бы под аркой под вороний карк
проплыв под полоскавшей ветви ивой,
на легком челноке плывет Арк. Арк.
в залив, к своей Аркадии счастливой.
Открытая вода. А за водой
садилось солнце. Меркла позолота.
Был воздух красновато-золотой
свободен для вечернего полета.
Он не глядел назад на острова,
на Вольный, Голодай и Турухтанный.
Как будто пьян — кружилась голова.
Как будто пьян минутой долгожданной,
лаская ложи лаковый сандал,
цевья витиеватый штучный выдел,
Аркадий подмигнул: «Видал, миндал?»

О да! увы! миндал его увидел,
по-фински зашептал в камыш: «Шурши!», —
а красноперке, лещику: «Баюкай!»**.
На Сапогова мирный сон души
тотчас же был навеян сладкой скукой.

---

* Перевод: «Он сводит меня с ума, этот край шиворот-навыворот, где ночи белые, а тиранам дают прозвище „великий“, где мужики зовут друг друга „голубь мой сизый“, и одетые в тряпье нищие роскошествуют.
Ваш друг Плинке. Невский пр., 16, Санкт-Петербург».
«...накопил сумму, достаточную на покупку хорошего... ружья...». *Анненков*. С. 77.

** Внимательный читатель заметит, что в этот стих проскользнул финляндский черт.

. . . .
Судьба плыла за лодкой серой щукой.
. . . .
Торчащий ствол цепляли камыши.

Там, в камышах, была как бы полянка
иль заводь, глубиною по плеча,
и птичка, камышовая подлянка,
над ней летала, хищно хохоча.
Она, как бы охотника маня,
как бы дразня: «Ну, попади, попробуй!»,
как бы кривлялась: «Выстрели в меня!» —
и снова хохотала с подлой злобой.
И Сапогов очнулся. И азарт
охотничий проснулся в Сапогове.
Сейчас он всадит в подлую заряд!
Сейчас Ружье получит первой крови!
Сейчас осуществится «я-хочу» —
мой выстрел прогремит, мгновенно светел.
Навскидку! Он приткнул приклад к плечу.
Приклад отсутствовал. Он не заметил.
Он торжествующе спустил курок.
Курок отсутствовал. Ружья не стало.
Ты мелко мстишь, неумолимый рок,
ку*мир-чумир* на гребне пьедестала!*
Ты мелко мстишь за *плен старинный свой*.
Кому — дорогу в ад надеждой выстлал?

Чиновника присутствующий вой
был страшен, как отсутствующий выстрел.

---

* Места, выделенные здесь и далее курсивом, заимствованы из произведений А. И. Введенского, А. С. Пушкина, С. Л. Кулле, И. А. Бродского, Ю. Е. Алешковского, Н. В. Гоголя, М. Ф. Ерёмина, Л. А. Виноградова и В. И. Уфлянда.

«В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны». *Анненков*. С. 77.

IV. Благородство товарищей

Гнилая лихорадка. Хоровод
кошмаров. Птичкой *на ружье наложен*
арест. И *сонмы сумеречных вод,*
кривлянье волн, подобных адским рожам.
Загримированные в разные носы
анчутки, хохлики, отяпы, асмодеи —
глаза, прически, бороды, усы.
Гоголос ангельский: *нет уз святее*
товарищества...

Товарищам сегодня не до дел.
Не все же стулья протирать портами.
Как улей, департамент загудел.
Охвачен состраданьем департамент.
И каждый, в горле проглотив комок,
заначку омочив слезой соленой,
в складчину отдавал, что только мог —
по желтому, по синей, по зеленой.
Конечно, отыскался и фискал,
все настучал, осклабясь нарочито.
Но генерал его не обласкал.
Дал красную и буркнул: «Ин-ко-гни-то».

...Как радугой, сердечной добротой
ствол нового ружья переливался,
и лентою, как солнце, золотой
товарищеский дар перевивался.

Товарищи! В складчину вечера,
фортепианы, вальс «Простись с тоскою»
и мрамор чёл, и чай, и ветчина,
донское рейнское, шампанское донское!
«Еще шампадонского для господ
товарищей!» — как говорят в романах.
Я говорю, *прищурившись из-под*
очков на стрелки часиков карманных:

«Т.т. Товарищи Мои!
Трезвеет мысль, омыта в алкоголе.
Нет чувств превыше дружбы и любви,
нет хуже зла, чем... Да кому какое!
Когда пушинкой с тополя от вас
вращаешься на улицу, вращаясь,
«Простись с тоскою!» — умоляет вальс, —
прощаешься, целуясь и прощаясь,
и на шампанских пузырьках душа,
на крошечных блестящих монгольфьерах
плывет над Петербургом не спеша,
вращается, как Пушкин в высших сферах»*.

V. Благополучное завершение

Кто побывал на каторге души,
махал кайлом в ее каменоломне,
тот знает, как небесно хороши
с попойки возвращения в Коломне.
Как хорошо Коломною ночной,
Коломною и за полночь не темной,
в Коломну от товарищей домой,
домой идти, идти домой Коломной,
и на шампанских пузырьках душа,
на легких искрометных монгольфьерах,
плывет над Петербургом, не спеша
вращается, как Пушкин, в высших сферах.
Вращается и Сапогов внизу,
домам, как дамам, отпуская шутки.
Он, без-ус-лов-но, ни в од-ном гла-зу...
Тут высунулся будочник из будки
и строго алебардой погрозил.
Но Сапогов, как повидавший виды,

---

* «Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже никогда не мог вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие...». *Анненков*. С. 77.

ему надменно крикнул: «Альгвасилъ!»
И бутошникъ заплакалъ от обиды.

Іюня 3-го дня 1837-го года

ПРИЛОЖЕНИЕ

Благоглупости*

...спросил, вскинувшись и вмиг перестав походить на Н. В. Гоголя...
Юз Алешковский

...я рукой потрогал цоколь,
засмеялся: «Что ж ты, Гоголь?
Как же мог ты, Николай?»
Был мой смех похож на лай.

Мимошедший иностранец
снял с плеча заморский ранец,
синий паспорт показал,
головою покачал:

«Ты зачем мону́мент трогаль?
Что ты лаешь, как собак?»
Тут приподнял веки Гоголь:
«Уходи домой, дурак...»

Представитель заграницы
убежал, как от огня,
и чугунные ресницы
поднял Гоголь на меня.

«Что по глупости ль, по пьянке ль
казачки́ не натворят...
в рай зато попал ты, Янкель,
а они в аду горят».

---

* Отвергнутое вступление в поэмку.
«...Исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову» (*Анненков*. С. 77).

Я ответил: «Я не Янкель,
я Lev Loseff, здесь не рай,
гений — никогда не ангел,
ты не ангел, Николай.

Николай, давай покурим,
у нас нынче праздник Пурим.
Пурим — праздник для детей,
только нет у нас сетей,

чтоб их выловить из речки,
соскрести их нечем с печки,
чтоб достать их из огня,
нет ухвата у меня.

Все, что было, сплыло, сплыло.
Лает сивая кобыла
сиплым голосом кобла
по-английски: blah, blah, blah.

Из-под пятницы в субботу,
после дождичка в четверг,
можно, я возьму в работу
тот сюжет, что ты отверг?

Как яичница-глазунья,
прошипи: si, ja, yes, oui.
На твое благоразумье —
благоглупости мои».

Мной зачитан и отчитан,
в знак согласия молчит он,
больше думая о том,
как бы люди-человеки,
из Варяг шагая в Греки,
уши, щеки, нос и веки
не снесли в металлолом,
чтоб хлебнуть по полстакана.

Утешаю Истукана:
«Мы другого отольем».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЬЯМ НА 2000-й ГОД

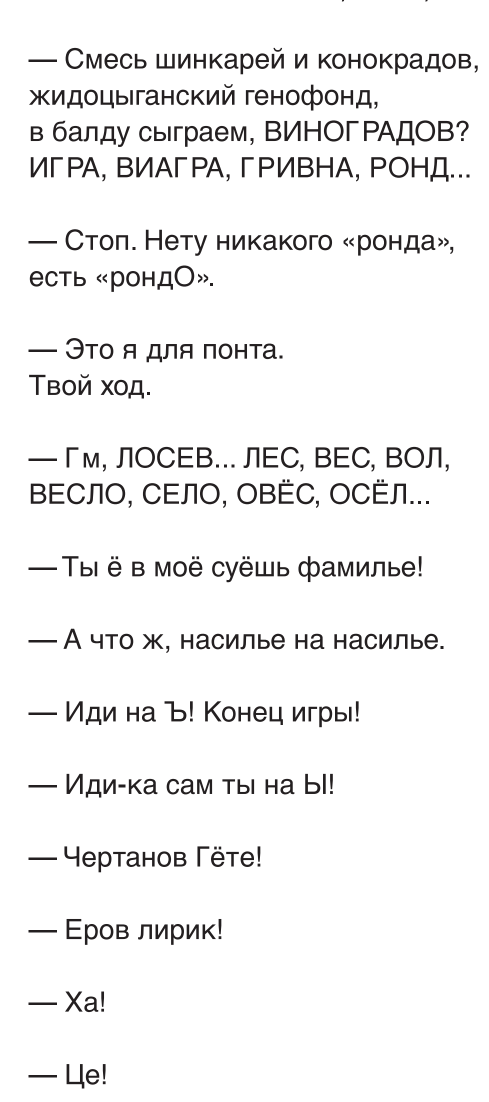
На открытке репродукция с картины Яна Стена «Птицелов»: птицелов возится с девкой под деревом, на ветке висит клетка с птичкой.

Кромуэлл, Ю. Е. Алешкоескому

Художник деньги греб лопатой.
В Голландии, как и везде,
дупло на иве узловатой
напоминает о пизде.
Древко завидя птицелова,
деваха навзничь лечь готова,
он задирает ей подол.
Я в экзистенциальной клетке
свищу, подвешенный на ветке,
как Мандельштам или щегол:
«Эх, траляля да труляля!
За двойкой катят три нуля!
Уставший от молений ум
приветствует миллениум!»

На открытке воспроизведена обложка книги А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду» (рис. К. Малевича).

Северное Чертаново, Л. А. Виноградову



— Смесь шинкарей и конокрадов,
жидоцыганский генофонд,
в балду сыграем, ВИНОГРАДОВ?
ИГРА, ВИАГРА, ГРИВНА, РОНД...

— Стоп. Нету никакого «ронда»,
есть «рондО».

— Это я для понта.
Твой ход.

— Гм, ЛОСЕВ... ЛЕС, ВЕС, ВОЛ,
ВЕСЛО, СЕЛО, ОВЁС, ОСЁЛ...

— Ты ё в моё суёшь фамилье!

— А что ж, насилье на насилье.

— Иди на Ъ! Конец игры!

— Иди-ка сам ты на Ы!

— Чертанов Гёте!

— Еров лирик!

— Ха!

— Це!

— Че?

— Ща!

— Fuck your cyrillic!
Happy New Year!

— Еры-еры.

На открытке — фреска «Aprile. Trionfo di Venere — giardino dell’amore» (Museo Schifanoia, Ferrara).

Петербург, Коломна, В. В. Герасимову

В траве сидят невеселые зайцы,
голуби разгуливают, угомонясь,
подростки друг к дружке губами прикасаются,
один стоит поодаль и смотрит мимо нас.

Его губы наливаются неким важным словом,
возможно, Venus, а, может быть, Vivat!
Он в бархатном вроде ватничка, в колпачке лиловом,
один чулок малиновый, другой голубоват.

Открытка-фотография: З. Фрейд, с тростью за спиной, в Лондоне перед зеркальным окном отеля «Esplanade», 1938.

Форест Хиллс, Б. М. Парамонову

Чего упорным ищет взглядом
отеля «Эспланада» гость,
при этом ощущая задом
свою фаллическую трость?

Вскользь по зеркальному стеклу,
где отражение нестойко,
на смену твердому колу
ползет изогнутая двойка.

Мир катится в тартарары.
Глупцы бокалы поднимают.
А три нуля, как три дыры,
известно что напоминают.

Старая открытка: «Ялта, февраль 1973 г.».

Клязьма, Э. Н. Успенскому

В нашу гавань с похмелюги
заходили иногда
то турецкие фелюги,
то немецкие суда.

Вход в шалман приотворялся,
кисло пахло из дверей,
там татарин притворялся,
что грузин он и еврей.

Много снега. Мало света.
Дикий херес, 200 грамм.
«Homo ludens» с дочкой Шпета
обсужденья по утрам.

На машинке старой стукал
двадцать пять часов на дню —
сочинял для театра кукол
я какую-то фигню.

Возле чеховской калитки,
там, где цвел вишневый сад,
выводил своих на нитке
персонажей — пусть висят.

Дни терялись, как монетки,
тарахтел мой Rheinmetall,
и черты марионетки
я и сам приобретал.

На машинке стукал, стукал,
стукал, стукал, стукал я,
вот и стал одной из кукол,
кукол, кукол, кукол я.

Эти строчки, милый Эдик,
вроде ширмы и кулис,
а приятель твой, поэтик,
тут на ниточках повис.

Он вихляется в том смысле,
ручкой вверх ли, ножкой вниз ли
выражая свой восторг,
что его на коромысле
кто-то все еще дёрг-дёрг.

Самодельная открытка: по памяти нарисована картинка с папирос «Казбек» и приклеена вырезанная из газеты строчка: «Чеченские боевики торгуют человеческими органами».

Санкт-Петербург, В. И. Уфлянду

Один чечен,
исламский ополченец,
мне продал член,
вполне приличный членец,
и печень дал в обмен на кость берцовую,
так как моя истерзана «Перцовою».

Так Новый год и век с тысячелетьем
и я, и он во всеоружье встретим.

Как я сказал

ФИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ С НАМИ

Вот и дома, в милой Финляндии, мы.
Дайте нам простокваши о оладьями.
В честь приезда дожди заладили.
Дымка детства.
Хорошо, когда все потеряно,
по-кошачьи щекой о дерево
потереться об Л. Андреева.
Декадентство!

Петроградская наша окраина.
Небо серой доской задраено.
Воробьиный кагал за сараями
в соломе.
Сумрак стынет в нетопленой сауне.
Появляется Некто в саване,
произносит внятно на зауми:
«Суоми».

* * *

Замывание крови. Утопление топора.
Округление глаз на вопросы. «Где вы были вчера
с полвторого
до полпятого?» — «Я? Уходил со двора,
был в трактире Ромашкина, спросите хоть полового».

Впрочем, это из книжек допотопной поры
про святых и студентов. Теперь забывают
рядом с трупом пустые бутылки и топоры,
на допросах мычат, да и кровь теперь не замывают.

ДВЕРЬ
(фото Марианны Волковой)

Пришпилен рисунок: кто-то в бурнусе
из пускавшихся в раскаленные зоны,
то ли Данте, то ли Лоуренс Аравийский.
Открытки: «Прибой бьется о скалы»,
«Хребет Гиндукуш», «Гильгамеш и Энкиду»,
«Пирамиды в Гизе» (нет, все же Данте),
«Понте Веккьо» (или это Риальто?),
«Дверная ручка» — нет, ручка не на открытке.

Здесь живет Никто.
                                        Недоверчив к двери,
замка на звонок просто так не откроет,
сперва поглядит в смотровую дырку
да и отойдет от греха подальше.

Но настанет день — он повыдернет кнопки,
торопливо заполнит все открытки,
надпишет на каждой: «К Николе Морскому»,
подпишется размашисто: «Твой Гильгамеш»,
рванет на себя дверную ручку,
а за дверью — Вожатый в белом бурнусе,
а за ним — каналы, мосты, пирамиды,
и бьется, и бьется прибой о скалы,
оседает, шипя, на снега Гиндукуша.

НОВОСЕЛЬЕ

Сегодня ночью во сне
вы показали мне
вашу большую новую
квартиру. Через столовую,
где собранием стульев заведовал
стол, где я посоветовал
передвинуть рояль к окну,
мы прошли в гостиную,
а потом через залу пустынную
в спальню. Но почему одну?
И тотчас планировщик сна
показал: вот еще одна
и еще, спален было много,
много темных комнат для сна.

Сегодня ночью во сне
вы друг друга почти что не
ненавидели, как в коммуналке,
свалке хлама, сортирной вонялке,
где вы прожили тридцать лет
при плакатах: «Гасите свет!»,
«Уходя выключайте свет!».
Слава богу, тут этого нет.

«Только вот, — вы твердили, — беда,
тут не будет метро никогда,
чтобы добраться, нужен десяток
ожиданий и пересадок,
руки книзу тянущих сумок,
скуки, всматривания в сумрак,
молчаливой ночной толчеи...»

Эти жалобы были ничьи,
чьи-то общие, мол, прописаться
очень трудно, но лучше мне
уходить, не остаться во сне,
просыпаться.

И, когда я в последний раз
оглянулся на дом ваш, гас
в окнах свет. Там гасили свет.
Выключали — и капитально
новый дом погружался во тьму.
В общем, знаю я, почему
он враждебно глядел мне вслед.
Но еще почему-то печально.

БРОДСКОГО, 2*

Вольный перевод из Верлена:
«Мужики замазюканные
кантовали рояли
из тучных грузовиков».
Видно, нам было велено:
в очереди за музыкой
мы за кем-то стояли
много веков.

Напрасные слезы — слижем.
Что делать, коль нету блата.
Нас как бубновую мелочь
кроет король червей.
Поэтому мы не услышим
Моцарта, Гайдна, Баха,
не вольемся в Мелос,
не выясним, что первей —

этика или эстетика?
или синица за морем?
Выпрашивание у Всевышнего,
вымаливание у Творца
лишнего билетика.
«Нет ли билетика лишнего?»
Мольба замирала за мрамором
Мраморного дворца.

---

* Адрес ленинградской филармонии.

Белая ночь. Ночь белая.
Пластрон в вырезе фрака.
Черные ля-бемоли, влюбленные в белые си.
Улыбка Рихтера беглая
из белесого мрака
в черной лодке такси.

Улиц клавиатура.
По нотному стану проспекта
мы разбредались группами,
как аккорды Шопена.
Все прочее — литература,
поскольку песенка спета.
Мы стали глухими и грубыми
потом, постепенно.

ОПЯТЬ НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Вороний кар не только палиндром,
он сам карциноген. Распухла туча,
метастазирует. Кепчонку нахлобуча,
оставив за спиной аэродром,
куда теперь? Податься на вокзал?
Остаться и напиться в ресторане?
Как я сказал. Как кто-то там сказал
в стихах. Как было сказано заране.
Ведь я уже когда-то написал
о том, как дождь над полем нависал,
о тяжком сне пилота-выпивохи.
В другой стране, в совсем другой эпохе.
. . . .
А может, ничего? Закрыть глаза
и к алтарю приткнуться аки агнец?
Воро́ны прячутся. Врывается гроза
и подтверждает черный их диагноз.

НЕВИДИМАЯ БАЛЛАДА

I

Хлебнуть на поминках водки
зашел Иванов, сосед,
когда я от злой чахотки
скончался в двадцать лет.

Тканью с Христом распятым
накрыт сосновый гроб.
Покоем и распадом
мой опечатан лоб.

Сидели рядком лютеране,
и даже не пахло вином,
лишь слезы они утирали
суровым полотном,

аптекарь Герберт Бертраныч,
сапожник Карл Иоганныч,
пекарь Готфрид Стефаныч,
Берта Францевна Шульц.

Гулящие две мамзели
из заведения «Эльзас»,
«Wie schöne, schöne Seele!» —
шептали, прослезясь.

«Он вместо квартплаты Берте,
хозяйке злой, как черт,
оставил на мольберте
неоконченный натюрморт:

прекрасен, а в рот не сунешь
булки ломóть с колбасой.
Ах, бедный, бедный юнош,
голодный и босой!

Ах, кружева развязались
в тетрадях его поэм.
Ужасна последняя запись:
окончу, когда поем».

II

Спасителем распятым
сосновый гроб накрыт.
Охваченный распадом,
покойник говорит:

«Не мучайте Иванова,
налейте шнапса ему.
А жителю мира иного
не нужно, ни к чему,

аптекарь, ваших зелий,
сапожник, ваших штиблет,
и прелести мамзелей
уж не прельщают, нет!

Пекарь, к чему ваши булки
душам, свободным от тел?
На острове в Петербурге
остов мой истлел.

Я был ученик портного,
мечтой в эмпиреях паря
(не мучайте Иванова,
налейте стопаря!),

а после того, как истлела
вся бывшая плоть уже,
т. е. после распада тела
что делать-то душе?

Без губ чего вы споете?
Без рук какое шитье?»
А все ж душа на свободе
снова взялась за свое —

в небе того же цвета,
что грифель карандаша,
невидимое вот это
выводит душа.

ПАМЯТИ ПОЛЯРНИКА

О подлом бегстве ездовых собак,
о картах лгущих, о подошвах съеденных,
затерянная в *нрзб* сведеньях,
на нас глядит с последнего листа
овалом обведенная два раза
отчетливо-бессмысленная фраза:
«Альдебаран — слеза, а не звезда».

Такое написать на широте
0°, где тризну правит полюс!
Где, обеззвученный, вмерз в льдину санный полоз.
Где звезды замерзают в бороде.

ЛЕКЦИЯ*

Каренина не виновата!
Виновен чайник Джеймса Ватта,
причинность, стрелочник, Толстой,
патриархальный строй.

Франкоязычный дед в тулупе?
Муж? Устрица в Английском клубе?
Незрячий паровоз? Фру-Фру?
Невроз? Нет, вру.

Ведь ради офицерской рожи
сама забыла мать Сережи
священный материнский долг,
и обагрился шелк.

На то, знать, воля Азвоздама,
что перееханная дама
отправилась не в рай, но в ад.
(Но чайник тоже виноват.)

---

* Из курса Russian 36: Tolstoy and the Problem of Death.

ПРОЗРАЧНЫЙ ДОМ

Наверное, налогов не платили
и оттого прозрачен был насквозь
дом, где детей без счету наплодили,
цветов, собак и кошек развелось.

Но, видимо, пришел за недоимкой —
инспектор ли, посланец ли небес,
и мир внутри сперва оделся дымкой,
потом и вовсе из виду исчез.

Не видно ни застолий, ни объятий,
лишь изредка мелькают у окна
он (всё унылее), она (чудаковатей),
он (тяжелей), (бесплотнее) она.

А может быть, счета не поднимались,
бог-громобой не посылал орла,
так — дети выросли, соседи поменялись,
кот убежал, собака умерла.

Теперь там тихо. Свет горит в прихожей.
На окнах шторы спущены на треть.
И мимо я иду себе, прохожий,
и мне туда не хочется смотреть.

В НЬЮ-ЙОРКЕ, ОБЛОКОТЯСЬ О СТОЙКУ

Он смотрел от окна в переполненном баре
за сортирную дверь без крючка,
там какую-то черную Розу долбали
в два не менее черных смычка.

В скандинавской избе начались эти пьянки,
и пошли возвращаться века,
и вернулись пурпуроволосые панки.
Ночь. Реклама аптеки. Река.

А в стекле отражались закаты другие,
взмахи желтых и траурных крыл.
Вспомнил он, что зарыл свой талант теургии,
вспомнил вдруг, что забыл, где зарыл.

Он завыл, точно Гинсберг, читающий «Каддиш»,
ибо вновь начиналось отсель
возвращенье вращенья — где слезешь, там сядешь,
желто-красных веков карусель

каруселит себе — ни сойти, ни свалиться.
Козыряла червями заря,
и слеза на небритой щеке символиста
отражала желток фонаря.

ГАД

Что только не померещится.
Потащил из стола
ящик — оттуда ящерица,
в ящике — пустота.

Где моя рукопись, знакопись,
словоза́слововязь?
Рукописями налакомясь,
гад ускользнул змеясь.

Слушай свист и шипение,
стой дурак дураком.
Чистомоёписание
мелкий сожрал дракон.

Эх, с ноготок бы рацию,
тут бы выкликал я
карликового рыцаря
с тонкой спицей копья.

Крошечное чудовищеце,
хоть ладонью лови.
Рыльце его в кириллице,
зубки его в крови.

* * *

Леса окончились.
Страна остепенилась.
Степь — разноправье необъятного объема
и неуклонной плоскости.
Синь воздуха и зелень разнотравья.
Тюльпаны молятся, сложив ладоши.
Разнузданные лошади шалят.

Раздут костер сушайших кизяков.
Надут шатер китайчатого шелка.
Взмывает Чингисхан на монгольфьере.
Внизу улус улучшенной Сибири.
В курганах крепко спят богатыри —
Хабар, Иркут и Ом с Новосибиром.
А жаворонки в синем ворожат,
как уралмашевская группировка:
поют «ура» и крылышками машут.

Тюльпаны молятся, сложив ладоши.
Беспроволочный интернет молитвы
соединяет их с Седьмой Ступенью
Всевышней Степи.

* * *

В похоронном дому расшушукалась жизнь-выдвиженка,
и как много ее —
с кучей мертвых цветов Черномырдин, с ТВ Евтушенко,
о Брайтонбича бабье,
и треножники камер, как тонкие ноги карамор,
налетевших на свет, и толпа,
положившая глаз на аристократический мрамор
желтоватого лба.

Словно пес потерявшийся, ветерок переменный,
вместо палки и мячика, разыгравшись, несет
запашок конопляного масла из китайской пельменной,
теплый вздох океана,
пар кофейный
к похоронному дому и от.

СТАНСЫ

Седьмой десяток лет на данном свете.
При мне посередине площадей
живых за шею вешали людей,
пускай плохих, но там же были дети!

Вот здесь кино, а здесь они висят,
качаются — и в публике смеются.
Вот всё по части детства и уютца.
Багровый внук, вот твой вишневый сад.

Еще я помню трех богатырей,
у них под сапогами мелкий шибздик
канючит, корчась: «Хлопцы, вы ошиблись!
Ребята, вы чего — я не еврей».

Он не еврей? Подымем, отряхнем.
Кило муки́ давали в одни руки,
и с ночи ждут пещерные старухи,
когда откроет двери Гастроном.

Был как бы мир, и я в нем как бы жил
с мешком муки халдейского помола,
мне в ноздри бил горелый Комбижир,
немытые подмышки Комсомола.

Я как бы жил — ел, пил, шел погулять
и в узком переулке встретил Сфинкса,
в его гранитном рту сверкала фикса,
загадка начиналась словом «блядь».

Разгадка начиналась словом «Н-на!» —
и враз из глаз искристо-длиннохвосты
посыпались сверкающие звезды,
и путеводной сделалась одна.

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

Бывает, мужиков в контору так набьется —
светлее солнышка свеченье потных рож.
Бывает, человек сызранку так напьется,
что всё ему вопит: «Ты на кого похож?»

«Ты на кого похож?» — по-бабьи взвизги хора
пеструх-коров, дворов и курочек-рябух.
«Я на кого похож?» — спросил он у забора.
Забор сказал что мог при помощи трех букв.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Б. Парамонову

В городе императрицы,
собеседницы Дидро,
где поют стальные птицы
в недостроенном метро,
где в ипатьевском подвале
ради пламенных идей
коммуняки убивали
перепуганных детей,
где стращает переулки
уралмашская братва,
где нельзя найти шкатулки,
чтоб не малахитова,
где чахоточная гнида,
местечковое пенсне
пребывает инкогнито,
точно диббук в страшном сне,
в евмразийской части света —
вот где вышла книга эта.

ПОПРАВКА К ИСТОРИИ

При чем тут Ленин, эсеры, Бунд?
Не так беспощадно-бессмысленный бунт
делался до сих пор.
А выйдет субтильный такой мужичок,
почешет рептильный свой мозжечок
да как схватит топор!

Свою избу разнесет в щепу
и страшным криком «Я всех гребу!»
повеселит толпу.

И тут набегут мусора-опера,
начнется изъятие топора
и советы веселой толпы вокруг
насчет вязания рук.

И будет он срок в болоте мотать
и песню мычать про старуху-мать,
мокредь разводя по лицу,
и охраны взвод будет — ать-два-ать-
-два! — маршировать на плацу.

* * *

Отменили высшую меру.
Низшей оказалось
пожизненное заключение
во вполне сносной, однако, камере:
кровать, унитаз, раковина, всегда
большой кусок мыла,
веревка (если чего посушить),
картина —

— портрет обитателя камеры
В косых лучах заходящего солнца.

Крюк для картины велик,
зато крепок.

ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ ВМЕСТО НАЗВАНЬЯ

«Названье со смыслом двойным и тройным
отменим давай, навсегда устраним,
поставим как знак и предвестье
стиха тройное созвездье.

А альфа созвездья большая, как Фет,
она излучает лирический свет,
который нам душу пронзает», —
мне Кушнер сказал, он-то знает.

А бета созвездья, белея как Блок,
свой свет проливает туда, где листок
предсмертной записки приколот:
презренье, отчаянье, холод.

А третьей звезды золотые лучи
на белой бумаге как в черной ночи
мерцают таинственным светом,
чей смысл и самим нам неведом.

* * *

Я видал: как шахтер из забоя,
выбирался С. Д. из запоя,
выпив чертову норму стаканов,
как титан пятилетки Стаханов.
Вся прожженная адом рубаха,
и лицо почернело от страха.

Ну а трезвым, отмытым и чистым,
был педантом он, аккуратистом,
мыл горячей водой посуду,
подбирал соринки повсюду.
На столе идеальный порядок.
Стиль опрятен. Синтаксис краток.

Помню ровно-отчетливый бисер
его мелко-придирчивых писем,
Я обид не держал на зануду.
Он ведь знал, что в любую минуту
может вновь полететь, задыхаясь,
в мерзкий мрак, в отвратительный хаос.

Бедный Д.! Он хотел быть готовым,
оттого и порядок, которым
одержим был, имея в виду,
что, возможно, другого раза
нет, не вылезешь на́ свет из лаза,
захлебнешься кровью в аду.

ИЗ БУНИНА

Нине

Прилетят грачи, улетят грачи,
ну а крест чугунный торчи, торчи,
предъявляй сей местности пасмурной
тихий свет фотографии паспортной.

Каждый легкий вздох — это легкий грех.
Наступает ночь — одна на всех.
Гладит мягкая звездная лапища
бездыханную землю кладбища.

ОТРЫВОК

Лег спать в июне — просыпаюсь в январе.
Не узнаю узоров на ковре
и за окном
безжизненный пейзаж мне незнаком.

Литва ли, Закарпатье? Тишина
едва ли не враждой напряжена.
Какой-то зверь,
одетый человеком, входит в дверь.

Он черноглаз, до синевы побрит,
его язык, скрипучий, как санскрит,
мне незнаком,
как сосны, снег и тучи за окном.

Он что ли мне родня — из неучтенных дядь?
Какую-то тетрадь мне норовит отдать,
я не беру, отдергиваю руки.
Мне непонятны эти письмена,
но среди них я различаю имена
давно утраченного друга и подруги…

САПГИР

С чего бы вдруг? Приснился мне Сапгир,
как будто на приеме в пышном зале.
Я подхожу. «А мы друг друга знали», —
я говорю. Но он меня забыл.

Вокруг него клубятся облака
и — наискось — златых лучей обвалы.
Да это рай! Да, рай для добряка-
поэта, объедалы-обпивалы.

В костюме, в галстуке, не на меня глядит —
на водочку на донышке стакана.
И так беззвучно говорит: Осанна!
И неподвижно в облаке летит.

ИСПАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ С НАМИ

В Мадрид приехал журналист.
Владимир Лифшиц

Как турист прокатился с женой по Испании,
пил плохое вино и закусывал постно,
словно книгу читал в слишком новом издании
и вообще слишком поздно.

От печальных бульваров с подъездами барскими
Барселоны на юг, к андалузским оливам,
не якшаясь со взрывоопасными басками,
к молчаливым

арабескам Альгамбры, как письмам непосланным,
к темным ряби арабской в прудах отраженьям —
к тем разбросанным письмам по мерзлым, обосранным
теруэльским траншеям.

С той забытой, с той первой войны что кричат они?
С той войны, где отец мой хотел быть убитым,
что молчат? — неподписаны, но припечатаны
колесом и копытом.

Еле слышно — «...учти, коммунисты — предатели...» —
шелестит — «марокканцы поставят нас к стенке…».
...Мы гуляли, глазели и весело тратили
евроденьги.

Против слова «Испания» выставим галочку
и по этому поводу выпьем маленько.
Эх, попросим испаночку сбацать цыганочку —
фламенко.

НА МАРОККАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Поток тойот растянут на версту.
Ментяра марокканский, точно боров
ленивый, разжиревший от поборов,
обратно в Африку пускает их за мзду.

Иные пробираются пешком,
в обход поста шустрят по козьей тропке,
на спину взгромоздив себе коробки
с беспошлинным стиральным порошком.

Не оступиться бы, не растерять
бесценный груз... Бог в помощь, пешеходы!
Авось бурнус удастся отстирать
от грязи, нищеты и несвободы.

ЛУЧ

Каморка. Фолианты. Гном,
набитый салом и говном.

Бумажки. Грязная еда.
По ящику белиберда.

Ночь с гномосексуальным сном.
В постели чмокающий гном.

...И, пройдя сквозь окошко и по половицам без скрипа,
лунный луч пробегает по последней строке манускрипта,
по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам,
а потом по седой бороде, по морщинистой морде
пробирается мимо вонючих пробирок к реторте,
где растет очень черный и очень прозрачный кристалл.

СИДЯ НА СТУЛЕ В ИЮЛЕ

Перед окном сижу на стуле.
Июлем отлитые пули
увесисто стучат в стекло.
Чего их нынче допекло?

Шмелям, на солнце перегретым,
Приказано к моим секретам
как можно ближе подлететь
и поджужжать, и подглядеть.

Валяйте, ветер, пчелы, птицы,
читайте эти вот страницы,
заглядывайте под кровать —
не буду ничего скрывать.

Белье, бумаги переройте,
не все же нас учить природе,
пускай поучится у нас,
а мы в последний вспомним час,

как мы природу обучали
игре то смеха, то печали,
да в дурака, да в поддавки,
в чем мы особенно ловки.

17 АГНОСТИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ

...бутылку 0.75. Толедской сталью снять заветную печать и вынуть рукопись. Ахти мне! Кислород, для нас живительный, для них наоборот — вещь в хладном воздухе распалась, как в огне. Остались лишь агнос агмен тическ фрагме.

1

ДХ: Бога нет?
— : Бога нет.
ДХ: Ну а ангелы-то есть?
Ну хоть крылья?
Ну хоть перья?
Ну хотя б одно перо?

2

— : Ладно, есть. Но Он распят.
Начинается распад
и попов смурное пенье,
что ни нота — невпопад.

3

МЦ: Рай — край.
А антиGod — dog.
— : А ад — распад?
черти — черви?

4

Причаститься слезой в швейцарской дыре,
тремя красными нотами в поми-до-ре,
петухом взгромоздиться на рейку,
распереть своих перьев ядреную медь
и еще до рассвета три раза пропеть
имяреку тебе кукареку.

5

Как говорил горбун Леопарди:
«У меня есть горб — значит бога нет».

6

АА: Как бегун, другими обогнанный,
в черной майке, прилипшей к спине,
припадаю к отравленной, огненной
страшной чаше, протянутой мне.

7

Многоочитая, как Ахиллесов щит,
в лопнувших жилах рудных входов,
гора отдыхает от трудных родов,
новорождённая мышь пищит.

8

Там, в прошлом веке, ЛГУ,
киоск газетный на углу,
газета с хрюканьем хруща,
общага с запахом борща.

9

картина удостоенная
сталинской премии второй
степени художник неизвестен:

10

Вращались оранжевые абажуры
в дни неизвестно зачем рожденья,
вальс танцевали на сопках манчжуры,
вознагражденье
было обещано — небо в колбасах…
(удаляется, продолжая вальсировать).

11

Кто-то сказал отчетливо: «Аквариум с вакуумом».

На нашем ненужном, расстроенном
рояле стояла запаянная
реторта с гелием,
странный трофей моего отчима, лауреата
сталинской премии второй
степени (за массспектрометр —
единственное слово, в котором следует писать три «с»
подряд, если не считать «СССР»).

12

Радио: Говорит радиостанция «Зоотечественники».
Московское особое время — сорок часов.
Тассо уполномочен заявить,
что Иерусалим освобожден.
«Я иранскому лидеру
Бороду выдеру», —
сообщил нашему корреспонденту Салман Рашди.
Погода: солнечно, облачно, с переменными грозами,
проливные дожди.

13

ТВ: Это
бородатое
не коряга, а
товарищ
из Никарагуа.

14

— : А у меня ни кара, ни гуа.

15

Скрипучей бритвой щек мешочки брея,
хрипучий, брюшковатый обормот,
он думает, что убивает время,
но Время знает, что наоборот.

16

В застенке поясницы костолом.
Он требует признания: ты стар?
Не признаю́сь.
Нет, признаю́сь! Я стар.
Друзей всех выдаю: да, сговорились
поумирать и умерли.

17

— : А ангелы-то есть?
АП: Конечно, есть!
Из золотых лучей и облаков
Они построят город. Ровно в подень
Над главной крепостью взлетит пушинка
И станет синий воздух щекотать.

СОЧЕЛЬНИК

Проглоти аршин.
Подтяни живот.
Выше нет вершин,
но не вниз — вперед
смотрим прямо:
горизонта нет,
геометрии нет,
только хлад и свет.
Лишена примет
панорама.

И ни звезд, ни лун,
ни ветрил, ни руля —
абсолютный нуль,
в мире нет нуля
абсолютней.
Да к тому ж тишина,
только льдинки звон.
То ли льдинки звон,
то ли входит в сон
ангел с лютней.

1 декабря 02

ИЗ ЗБИГНЕВА ХЕРБЕРТА

Русская сказка

Постарел наш царь-батюшка, сильно постарел. Голубя своими ручками и то не задушит. Сидит себе на троне весь золотой и стылый. Только борода растет, до полу и насквозь.

Потом другой править стал, а который неведомо. Любопытные пытались в окна дворцовые подглядеть, но Кривоносов все окна виселицами заставил. Так что которые висят, те только чего-то видят.

Под конец наш царь-батюшка совсем помер. Колокола звонили да звонили, а покойника-то все не выносили. Царь-то наш в трон врос. Где царя ножки, где трона — не разберешь. Что локоток, что подлокотник — все одно. Не оторвешь. А с троном-то золотым-то царя хоронить — это ж куда годится!

Конец династии

Вся королевская семья ютилась тогда в одной комнате. За окнами была стена, под стеной помойка. Там крысы искусывали кошек насмерть. Но этого было не видно. Окна были замазаны известкой.

Когда пришли палачи, они застали обычную картину.

Его Величество редактировал устав Свято-Троицкого полка, оккультист Филипп пытался внушением успокоить расшатанные нервы Королевы, Наследник спал в кресле, свернувшись в клубок, а Великая (хоть и тощая) Княгиня, распевая благочестивые песни, штопала белье.

Что до лакея, он стоял у стены и пытался притвориться гобеленом.

* * *

В Париже, пьяненьким гриппозным днем,
с моим прямоугольничком пластмассы
в его глазах я кандидат в Мидасы.
Пойдем, я угощу тебя вином.

Закат под цвет трико вдовы Клико,
и нищий спутник мой, уже в поддаче,
вдруг говорит: «Мне пишется легко,
а как тебе?» А мне совсем иначе,

так трудно... Но постой, приносят счет.
В чужом пассаже под стеклянным небом
что ни скажи, все кажется нелепым.
Пойдем, я угощу тебя еще.

КАБУЛ

(*Из Элизы Гризуолд*)

Поджидает дальнобойщиков за городской чертой.
Два черных глаза отражают две черные лужи.
То, что ниже, замотано черной чадрой,
но так даже лучше.

Муж убит, есть нечего, и то, из чего
едят, уже продано, и четыре голодных пасти,
и продать больше нечего, кроме немытого тощего
женского тела, точней; одной его части.

Хорошо, что теперь свобода, а то при Осаме бин
Ладене в Кабуле булыжников наблюдался излишек
и талибы забили б ее в кровавую кашу, ибо сами, блин,
талибы предпочитали мальчишек.

ПИРС ИСПАРИЛСЯ

Серый линкор отражен в синеве.
Парочки мирно воркуют себе,
гетеро и гомо,
и, как всегда у любой воды,
старый мудак на конце уды.
Тут мы как дома.

Доски повыщерблены. Линкор
на вечном приколе, в нем кулинар-
ная школа.
Плещутся волны. Смех поварят.
Баржи уходят за поворот
плавно и скоро.

То-то сюда мы ходили вдвоем,
друг мой, влюбленный в любой водоем,
я — тоже вроде.
Было да сплыло, исчезло, прошло.
Что вы там плещете, волны, назло?
Что вы там врете?

Было да сплыло, на то и вода.
Зря вот я трезвым приплелся сюда,
зря не напился.
То, что «сейчас» — это было «потом».
Тупо гляжу на железобетон.
Нет больше пирса.

* * *

По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид...
А. К. Толстой

Помню дождик и солнце от Орла до Чернигова,
едет граф-морфинист; богомолка, лицом испита,
низко кланяется, на ухабах коляска подпрыгивает.
Пренатальная память, печальная вещь, господа!

Пренатальная память, как собака, зализывает
эту рану пространства от Мценска до Брянска под названием Русь.
Дождь идет. Солнце светит. Охотник записки записывает.
Граф трясется в коляске. Я по гребле плетусь.

* * *

Этот возраст преклонный на деле столи́к —
тот распух под старость, а тот усох.
Скажем, я — худощавый высокий старик
с безупречной щеткой седых усов.
Я иду вдоль моря, втыкая трость
в пену...

                  Нет! в паху моем щерсть густа,
я держу в руке черно-синюю гроздь
и молодке кладу виноград в уста.
«Эй, малец, принеси-ка еще вина,
влажных устриц, розовой ветчины...»

Или так: с чердака колокольня видна,
а над ней облака и птицы видны.
Тишина, лишь в горсти у меня скрипит
заколдованное золотое перо,
и, когда обнаружат мой манускрипт,
все разлюбят зло и полюбят добро.
«Этот старый лев нас учил добру», —
скажут люди...

                                Да ладно, чего я вру?
Ничего я не праздновал, не изрекал.
Жил вдали от моря. Боялся зеркал.

ПО БАРАТЫНСКОМУ

Версты, белая стая да черный бокал,
аониды да желтая кофта.
Если правду сказать, от стихов я устал,
может, больше не надо стихов-то?

Крылышкуя, кощунствуя, рукосуя,
наживаясь на нашем несчастье,
деконструкторы в масках Шиша и Псоя
разбирают стихи на запчасти

(и последний поэт, наблюдая орду,
под поэзией русской проводит черту
ржавой бритвой на тонком запястье).

«ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1957»

Убожество и черная дыра —
какой? — четвертой, что ли, пятилетки.
В тот день в наш город привезли объедки
поэзии с московского двора.

Вот, дескать, жрите. Только мы из клетки
обыденности вышли не вчера...
На пустыре сосна, под ней нора,
тоскующий глухарь на нижней ветке...

В наш неокубо- москвичам слабо,
в сей -футуризм, где Рейн ревет: Рембо! —
где Сфинкс молчит, но в ней мерцает кварц.

В глазах от иероглифов рябó
Ерёминских, и Бродского ребро
преображается в Елену Шварц.

* * *

Под старость забывают имена,
стараясь в разговоре, как на мины,
не наступать на имя, и нема
вселенная, где бродят анонимы.

Мир не безумен — просто безымян,
как этот город N, где Ваш покорный
NN глядит в квадрат окошка черный
и видит: поднимается туман.

* * *

Иуда задумался, пряча
сребреники в сумку,
холодный расчет и удача
опять подыграли ему.

Срубить колоссальные бабки
и прежде случалось подчас,
но что-то становятся зябки
апрельские ночи у нас,

но падалью пахнут низины,
но колет под левым ребром,
но в роще трясутся осины,
все тридцать, своим серебром.

И понял неумный Иуда,
что нет ему в мире угла,
во всей Иудее уюта
и в целом Вселенной тепла.

2003 ГОД

Мы наблюдаем то леониды,
то затмение луны,
то солнце почти дотянется до нас протуберанцем,
то Марс внезапно подойдет так близко,
что молодой медведь,
который к нам приходит есть гнилые яблоки,
навалит кучу с перепугу.
Медведь уйдет — придут олени.
Олениха с двумя годовичками,
за ними на трех ножках сеголетка,
четвертая, поджатая, как видно, повреждена при родах.
Зимой ему не выжить.
Я давеча в приемной в клинике сидел и дожидался диагноза.
Вдруг входят трое:
отец, мать, мальчик лет пяти — слепой,
хохочет, тычет бело-красной палкой: «А это что? А это?»
Тяжелая, поджатая, слепая меня затмила ненависть к природе.
А тут еще летят спасаться гуси от наших холодов,
кричат,
как будто ржавые винты мне ввинчивают в сердце.

КАК В РОМАНСЕ

С. Г.

Мой приятель, мечтатель о женщинах столь длинноногих,
что входное отверстие составляет со ртом как бы Т,
о пришелицах с Марса… но на Марсе хватает своих одиноких,
чтобы к ним приходить в темноте.

Там, на розовом Марсе, как в старом романсе,
луч заката пурпурен, цветы отдают синевой.
Вот туда и летел он, но компьютер сломался
и корабль повело по неверной кривой.

Что-то вышло неправильно со влажными снами подростка.
Видно, надо к магнитному полюсу изголовьем ставить кровать,
а иначе виденья наваливаются слишком громоздко,
слишком жестко становится спать.

А на Марс засылали с тех пор стальных каракатиц.
Оказалось, что там ничего, кроме суши и мерзлоты,
ни улыбок, ни вздохов, ни шуршанья снимаемых платьиц,
ни заката, ни музыки, и какие там к черту цветы.

КУЗМИН

Собака
лает
во дворе.
Ее
зарежут
и зажарят.
Мужчин
в подвал
Чека
сажают.
Кузмин шагает в кабаре.

За пол-
миллионный
бутер-
брод
Кузмин откроет темный рот и запоет.
Поэт поет наоборот — жеманно, мужественно, нежно
и безнадежно, и, конечно,
о смерти.

Плачут
пиджаки.
При-
нюхиваются
черно-
бурки:
как
из
немытой

мясорубки
воняет
в мертвом
Петербурге,
и
этот
запах
не
пройдет.

У. Х. ОДЕН
О СОВЕТСКОМ ВТОРЖЕНИИ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ В АВГУСТЕ 1968 г.*

Что ожидается от Людоеда, то и делает Людоед.
Движется в сторону туалета, когда наедается, Людоед.

Легко получается у Людоеда человечину переварить,
но не получается у Людоеда по-человечески говорить.

Вот Людоед ходит в-боки-руки, он не боится ни черта.
Вырываются скверные звуки, но не из зада, а изо рта.

* На основе стихотворения Одена «August 1968» («The Ogre does what ogres can…»).

ВЕЧНАЯ ПЕСЕНКА

И кресты, и оркестры, и тосты — зря,
и победные речи смешны,
ведь заря победы — всегда заря
новой войны.

Да, заря победы — всегда заря
новой войны.
Превратить этих мальчиков в свору зверья —
как два пальца и хоть бы хны.

Тот, кто в шаль заботливо кутал мать
и невесте дарил кольцо,
может завтра руку ребенку сломать,
сапогом наступить на лицо.

«Ты — герой!» — прохрипит ему солдафон,
загнусит ему в ухо магнитофон:

Налейте водки мне стакан,
Гроб я везу в Чучмекистан,
Чтоб там наполнить эту тару.
Тащите закусь и гитару:
«С водкой в стака-а-ане...»

Тонкой струйкой стекает с неба заря.
Ходит Смерть в обличии косаря,
улыбается черной дырой рта.
А за смертной чертой — ни черта.

* * *

Город тянется вверх, расползается, строится.
Здесь было небо, а нынче кирпич и стекло.
Знать, и тебе, здоровому, не поздоровится,
хватишься времени — нет его, истекло.

Выйдешь под утро в ванную с мутными зенками,
кран повернешь — оттуда хлынет поток
воплей, проклятий, угроз, а в зеркале
страшно оскалится огненноокий пророк.

СЕЙЧАС

1

Кот лежит на газете,
взглядом зелен и хмур,
в аккурат на портрете
Marianne Moore.

Нежива поэтесса,
чей портрет под котом.
У кота интереса
нет к тому, что потом.

Кот следит за синицей,
снег стряхнувшей с куста,
я за этой страницей,
чтоб была не пуста.

2

Снег не засыплется (ибо не пишется)
черной черникой.
Только не пыжиться! Только не пыжиться!
Чижик, чирикай!

На поле боя повалены воины,
на поле боли.
Только на воле бы! Только на воле бы!
Только б на воле!

Вспомнишь ли прошлое, зыбкое крошево,
где уж там пенье!
Тихо посвистывай, зябко взъерошивай
серые перья.

3

За окнами такой анабиоз,
такая там под минус тридцать стылость,
что яблоня столетняя небось
жалеет, что на свете загостилась.

Грозится крыша ледяным копьем.
Безвременный — день не в зачет, а в вычет.
Кот делится со мной своим теплом.
Мы кофе пьем. Один из нас мурлычет.

Говорящий попугай

Попугай говорящий, но говорящий редко,
только по-русски и только одно…

СКАЗКА № 1

Гуляя по Кудыкиной горе,
вырезывая в липовой коре:
«Здесь был Л. Л.», «Здесь был Л. Л.», «Здесь был Л...»
Здесь был, да сплыл. Здесь был, да был таков.
Хоть пробовал отмычкой сто замков,
хоть воду мертвую на землю вылил.

В земле осталось мертвое пятно.
Теперь с сырой земли глядит оно,
как глаз Л. Л., прищурившись и мимо.
С Кудыкиной горы глядит туда,
где в мудром лбу красавицы звезда,
горит, где эта сказка повторима.

СКАЗКА № 2

Царь поднимался рано и, пока ты
спала, шел за порог взглянуть с утра
на небогатые свои палаты
и кол с мочалом посреди двора.

Но властный голос произнес: «Так надо
и опустил на землю мрак и мглу,
и раскрутил и запустил торнадо,
молниесмертоносную юлу.

Трещала твердь, с кола рвалось мочало
мычало радио, и облака ползли
на брюхе по земле, как до начала,
до разделенья неба и земли.

ФУКО

Я как-то был на лекции Фуко.
От сцены я сидел недалеко.
Глядел на нагловатого уродца.
Не мог понять: откуда что берется?

Что по ту сторону добра и зла
так засосало долихоцефала?
Любовник бросил? Баба не дала?
Мамаша в детстве недоцеловала?

Фуко был лыс, как биллиардный шар,
не только лоб, но как-то лыс всем телом.
Он, потроша историю, решал
ее загадки только оголтелым

насилием и жаждой власти. Я
вдруг скаламбурил: Фу, какая пакость!
Фуко смеяться не умел и плакать,
и в жизни он не смыслил ни хрена.

Как низко всё, что метит высоко,
нудил, нудил продолговатый череп.
Потом гнилая хворь пролезла через
анальное отверстие Фуко.

Погиб Foucault, ученый идиот
(idiot savant), его похерил вирус.
История же не остановилась
и новые загадки задает.

1911

Столыпина жаль, говоря исторически
и просто так, житейским манером,
но жаль и Богрова с его истерически
тявкающим револьвером.

Жалко жандарма. Жалко по Лысой
горе гуляющую ворону.
Жалко доставленного из полиции
с переизбытком тестостерону

душегуба, с утра хватившего водки —
но не берет, да ну ее к псу!
И он снимает с бледного Мордки
стекляшки, торчавшие на носу.

Палач проявляет жалость к еврею —
нехай жиду кажется, что всё во сне.
Да и неловко вешать за шею
человека в пенсне.

КАЗАНЬ, ИЮЛЬ 1957

Толстые мухи. Столовая.
«Выдача блюд до шести».
Мелкое, желто-лиловое
тщится на клумбе расти.

Парализованный, в кителе,
тычется в бок инвалид.
«Вытери? — Нет, вроде, «выдели»;
«Выдели хлеба», — велит.

Хлеб отдаю, недоеденный,
желтое пиво, азу.
Смотрит он белой отметиной
в левом незрячем глазу.

Видимо, слабо кумекая,
тянется вилкой к борщу.
Вот уже чуть не полвека я
всё за собою тащу

тусклую память, готовую
мне подставлять без конца
мертвую, желто-лиловую
левую щеку лица.

ШКОЛА № 1

Брюхатый поп широким махом
за труповозкою кадит.
Лепечет скрученный бандит:
«Я не стрелял, клянусь Аллахом».
Вливается в пробои свет,
задерживается на детях, женщинах,
их тряпках, их мозгах, кишечниках.
Он ищет Бога. Бога нет.

СОН С ПРИМЕЧАНИЯМИ

«Я вспоминаю до сих пор,
стакан к себе придвинув,
спустившихся с Карпатских гор
угрюмых жидовинов.

Когда же разгляжу в упор
и выпью что в стакане,
мне ясно видится узор
на их кафтанной ткани.

От выпитого ошалев,
им мозг себе ужалив,
я вижу, как играет Лев
с прекрасной буквой Алеф…»

Мне эта, прямо говоря, чушь, три куплета эти на 23-е января приснились на рассвете. Здесь ничего такого нет, мне часто снится в рифму. Стихоплетенье с детских лет впиталось в кровь и лимфу. Так снятся сны не только мне. Глазков покойный, Коля, четверостишие во сне увидел раз такое:

«Была у деда борода
Седа, как зимний лес,
И величава, как вода
На Куйбышевской ГЭС».

Вот это прелесть, правда, да? А у меня белиберда. Жиды, Карпаты, Алеф (Бык?), Лев (Царь?), кафтан узорный. Ведь это всё не мой язык, весь стих чужой и черный. Откуда вдруг взялась в мозгу чужих видений стая? Хочу понять и не могу, и мучаюсь. Хотя я не толкователь вещих снов и ро́ршаховых пятен, меня волнует шорох слов, чей смысл мне непонятен.

«ПОДУМАЕШЬ ТОЖЕ, РАБОТА!»

Поэтом быть приятно и легко,
пусть легкие черны от никотина.
Пока все трудятся, поэт, скотина,
небесное лакает молоко.

Все «муки слова» — ложь для простаков,
чтоб избежать в милицию привода.
Бездельная, беспечная свобода —
ловленье слов, писание стихов.

Поэт чирикать в книжках записных
готов, как свиноматка к опоросу.
А умирают рано те из них,
кто знает труд и втайне пишет прозу.

ЭКСКУРСИЯ

Вот наш водитель объявил: «Содом».
Сойдем. Осмотримся. Зайдем
в кинотеатр. Милуются мужчины
и пахнет семенем. И нет свободных мест.
А на экране свалка и инцест,
седалищем, влагалищем и ртом
тот ест собачину, та просит мертвечины.

Вот едем дальше. Остановка «Ад».
Нарсуд. Военкомат. Химкомбинат.
Над дохлой речкой испускают трубы
смердящий сероводородом дым.
Здесь небо не бывает голубым.
Оранжев дым, закат коричневат.
В трамвае друг о дружку трутся трупы.

Voilà un garçon, ein Knabe, a boy.
Из школы с окровавленной губой,
без букваря, без ранца, без пенала,
без шапки, без надежды, без души.
Вот медленно плывут карандаши —
зеленый, желтый, красный, голубой —
водой Ад обводящего канала.

НАД ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИЕЙ

Но музы поступили плохо,
среди олив и цикламен
украв коров у Архилоха
и лиру дав ему взамен.

Вот он с тех пор и заработал
струн перебор с набором слов
взамен позвякиванья ботал,
мычанья, запаха цветов.

ИОСИФ В 1965 ГОДУ

Вся эта сволочь с партактивами
цветок за цвет и за мерцание
звезду могла бы сжить со света.

Стихов «с гражданскими мотивами»
потребовали от поэта.

Но в результате замерзания
в его чернильнице чернил
стихов с гражданскими мотивами
поэт для них не сочинил.

Он слушал сердца замирания,
следил за кряквами крикливыми
и крыши драные чинил.

Река плела свои извивы.
Шёл снег. Стояли холода.
И, как гражданские мотивы,
чего-то ныли провода.

СЧИТАЛКА

В божьей торбе
по-бомжьи скарба:
майка с Горби,
плакат с Гретой Гарбо,
серп, звезды, молот, месяц в ущербе,
послание, полное скорби,
urbi et orbi
с кукольной подписью: Барби.

Выбери куклу
с большими грудями
или драму Софокла
со снами крутыми,
или немое кино,
или перестройку и гласность,
или флага красность или многополосность,
всё, блин, одно.

Раз, два, семнадцать,
восемь, тринадцать.
Цифры сомнутся,
потом накренятся
да как разорутся!
Да как разгорится
на горизонте полоска сине́й.
Под горку, стадо свиней!

Сыплет бисер
век-свиновод.
Прячься не прячься —
ты виноват.

ДЕПРЕССИЯ-РОССИИ

Же́не

Вся Россия, от среднего пояса
с бездорожьем туды и сюды
и до Арктики, аж до полюса,
где подтаивать начали льды,

финский дождик, без устали сеющий,
жаркий луч на таврическом льве
уместились в седой и лысеющей
черноглазой твоей голове.

Эту хворь тебе наулюлюкали
Блок да Хлебников, с них и ответ.
В ней московский, с истерикой, с глюками,
в январе эйфорический бред

и унынье в июне, депрессия,
в стенку взгляд в петербургской норе,
и чудесный момент равновесия
на тригорском холме в сентябре.

В ПУСТОМ ЗАЛЕ

«Не отставайте», — нам сказали,
но мы отстали и одни
вдруг оказались в этом зале
с огромным зеркалом в тени.

На гобелене от Перикла
остался выцветший овал,
и рыхлый бархат слишком рыхло
на низком троне истлевал.

Сверкнули тусклые аканты
и корешки потертых книг,
когда случайный луч закатный
в окно под потолком проник.

В нем золотая пыль дрожала
и он то вспыхивал, то гас,
но зеркало не отражало
ни света этого, ни нас.

РАПОРТ

В этом году мне исполнится 70 лет.

Принимайте по списку:
пистолет,
партбилет,
портупею
и пару золотых эполет.

Оставаясь в отставке барабанщиком вашей козы,
прошу пенсион мой уменьшить в разы,
ибо не ради корысти,
а приказ небожителя выполнить чтоб,
сжимаются артритные кисти,
сгибается ревматический голеностоп.

В перепонки ушные стучит не гашеная известью кровь,
отбивает анапестом дробь.

Нас осталось очень немного
(два жида в три ряда!),
остальные шагают неумело, не в ногу
и вообще не туда.

НОВЫЙ ЗАДЕКА

«Бойся снов на среду и на пятницу», —
так меня учил приятель мой,
и всегда я вспоминаю пьяницу,
если сон особенно дурной.

Толкователь снов М. М. Красильников,
как же мне не вспомнить о тебе,
убегая от убийц, насильников,
от агентов Г, простите, Б.

В аэропорт дороги заболочены,
потерялся паспорт и билет,
из подвала двери заколочены,
в проходном дворе прохода нет.

Или нынче — с бабами-торговками
в медленно ползущем никуда
поезде, со скрипом, с остановками.
Просыпаюсь. Вроде бы среда.

РОЗА ОТВЕЧАЕТ СОЛОВЬЮ

Ночь, не отстающая, как нищенка.
Соловей, цитирующий Зощенко,
щёлкающий из Толстого с Гамсуном:
«Миром правят голод и любовь».

Над дурманной желтизной купавника
в местном, скромном облике шиповника
роза отвечает громогласному,
мне ее ответа не забыть.

Слово ее, вежливое, нужное,
влажное (ведь дело ночью!), нежное,
с финского на русский переводится
как «о, да», «о, нет» и «может быть».

КВАРТИРА

Мне приснилась квартира окном на дворец и Неву,
на иглу золотую, что присниться могла б наркоману.
Мне сначала приснилось: я в этой квартире живу.
Но потом мне приснилось, что мне это не по карману.

Мне приснилось (со злобой), что здесь будет жить
вор-чиновник, придворная челядь, бандитская нелюдь
иль попсовая тварь. Мне приснилось: пора уходить.
Но потом мне приснилось, что можно ведь сон переделать.

И тогда в этом сне я снова протопал к окну
и увидел внизу облака, купола золотые и шпили,
и тогда в этом сне мне приснилось, что здесь и усну,
потому что так высоко, а лифта ещё не пустили.

НИНА ГОВОРИТ О ТИНТОРЕТТО

«Благовещение» помнишь?
Разбивая вдребезги стекло, как бомбардировщик,
в комнату сверху врывается с растопыренными крыльями
архангел, а за ним
эскадрилья херувимов с суровыми лицами.
Мария, маленькая, испуганная, сидит на кровати,
а под кроватью горшок и шлёпанцы.

А «Рождество»?
Спереди здоровенная русская печь. На печи
лежат двое мальчишек лет десяти
и глазеют. А в глубине коровы, Мария, Иосиф
и маленький Иисусик.

Рисовать-то все умели, а Тинторетто
еще и мыслил.

ПАМЯТИ ВОЛОДИ

Ты умер, а мы ишачим,
но, впрочем, дело за малым.
Ты спал под живым кошачьим
мурлыкающим покрывалом.

Все, что намурлыкано за ночь,
ты днем заносил на бумагу.
А низколобая сволочь
уже покидала общагу.

Ты легко раздаривал милость
растениям, детям, собакам.
А сволочь уже притаилась
в подъезде за мусорным баком.

Не слишком поэту живется
в краю кистеней и заточек.
А кошкам не спится, неймется,
всё ждут, когда же вернется
живого тепла источник.

ДЕНЬГИ

Попугай стоит в закуске, по колено в сметане…
Михаил Родионов

Деньги, конечно, не всё, но и всё не деньги.
За всё мне пока что в лавке никто ничего не давал.
Мне очень нравятся деньги, зеленые их оттенки,
портрет отца-основателя, вписанный в строгий овал.

Денег должно быть много, как страничек в общей тетради,
чтобы сказать со вздохом: «Не знаю, куда их деть».
Чем меньше бугрится спереди, тем больше бугрится сзади,
в левом заднем кармане, неудобно сидеть.

Так рассуждал мой близкий, но не очень, приятель,
друг закадычный, а, в сущности, лютый враг.
К нему обращались по имени Распишитесьздесьполучатель,
он и сам признавался, подписываясь: Желаювсяческихблаг.

А вот и блага: табуретка, кровать, с попугаем клетка.
Старческий зрак попугая мутным презреньем набряк.
Попугай говорящий, но говорящий редко,
только по-русски и только одно: «Дур-р-рак».

* * *

Ко́злищ как не приравняешь к овнам?
Что-то есть военное в церковном.
Ризы, пригвожденные к иконам,
отливают золотом погонным.

Словно в блиндаже фитиль огарка.
Меньше света от него, чем чада.
Роспись на стене дрожит, как карта,
где кольцо сжимают силы Ада.

Золотого купола редиска.
Звонницы издерганные нервы.
Пономарь с косичкой, как радистка.
«Первый! Шлите подкрепленье! Первый?»

Для чего еще духовным лицам
лбами прикасаться к половицам,
если им не чудится оттуда
приближенье рокота и гуда.

Подползают к храму иномарки,
неотвратные, как танки НАТО.

Бабки тушат пальцами огарки.

Кто их знает, может, так и надо?

НЕОКОНЧЕННЫЙ ГОГОЛЬ

Поманив его пальцем в предсмертный альков,
исповеднику скажет Матвею:
Ну и что, что в тюрьме предприимчичиков,
остальные лишь стали мертвее.

Догорает костер, на который взошел
том второй с его греческим принцем,
потому что милей нам запой и зажор
чаепитий с вертлявым мизинцем.

Да копыта побив о жердистую гать,
будет тройка скакать лесостепью,
по ночам в конуре собакевич брехать
и вздыхать, и позвякивать цепью.

TORVAIANICA

Всё в мире оказалось повторимо.
Вторично мне родиться довелось
в невзрачном дачном пригороде Рима,
а имя новое определилось — Лось.

О, как свободно я бродил по Риму
без памяти, без денег, без стыда!
По-русски говорил, но только в рифму
и получалось здорово, когда

мне вдруг кивал из-за безносых статуй,
из-за колонн, бредущих чередой,
горбатый призрак, северный, сохатый,
с еврейским профилем и жидкой бородой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ОТКАЗ ОТ ПРИГЛАШЕНИЯ

На склоне дней мне пишется трудней.
Всё реже звук, зато всё тверже мера.
И не пристало мне на склоне дней
собою подпирать милицанера.

Не для того я побывал в аду,
над ремеслом спины не разгибая,
чтоб увидать с собой в одном ряду
косноязычащего раздолбая.

Вы что, какой там к черту фестиваль!
Нас в русском языке от силы десять.
Какое дело нам, что станет шваль
кривлять язык и сглупу куралесить.

Примечание. Поминая милицанера, я имел в виду не покойного Д. А. Пригова, талантливого артиста в широком смысле этого слова, о единственной встрече с которым у меня осталось очень милое воспоминание, а тех, кто полагает, что инфантильное языковое кривлянье самодостаточно, например, А. Б., Ш. Р. и Т. П. Пятая и шестая строки — цитата из запомнившегося с детства четверостишия Александра Гитовича: «Не для того я побывал в аду, / Над ремеслом спины не разгибая, / Чтобы меня вела на поводу / Обозная гармошка краснобая». Поэт метил в любимцев партии и народа А. Твардовского, А. Прокофьева, за что ему крепко тогда досталось.

* В Приложении 3 помещены стихи, написанные автором незадолго до смерти. В его последнюю книгу они не вошли.

СВОИМИ СЛОВАМИ
(пересказ)

Ф. П., владелец вислых щечек, поставил сына, блин, на счетчик! Вся эта хрень произошла там из-за бабы, не бабла. А С. был полный отморозок, немало ругани и розог он сызмалетства получил. Сработал план дегенерата: он разом и подставил брата, и батю на фиг замочил. Всё, повторяю, из-за суки. Тут у другого брата глюки пошли, а младший брат штаны махнул на хиповый подрясник и в монастырь ушел под праздник. Ну, вы даёте, братаны!

ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ

Дождь прекратился. Кончилась гроза.
Гром откатился на другое небо.
Кружат стрижи и голосуют за
режим свободы наподобье НЭПа.

Как нэпман благоденствует слизняк,
червонцами искрится солнце в слизи.
Вот сойка пропорхнула мимо, как
жидовка в голубой испано-сюизе.

В КЛИНИКЕ

Мне доктор что-то бормотал про почку
и прятал взгляд. Мне было жаль врача.
Я думал: жизнь прорвала оболочку
и потекла, легка и горяча.

Диплом на стенке. Врач. Его неловкость.
Косой рецепт строчащая рука.
А я дивился: о, какая легкость,
как оказалась эта весть легка!

Где демоны, что век за мной гонялись?
Я новым, легким воздухом дышу.
Сейчас пойду и кровь сдам на анализ,
и эти строчки кровью подпишу.

С ДЕТСТВА

Кошмаром арзамасским, нет, московским,
нет, питерским распластанный ничком,
он думает, но только костным мозгом,
разжиженным от страха мозжечком.

Ребенку жалко собственного тела,
слезинок, глазок, пальчиков, ногтей.
Он чувствует природу беспредела
природы, зачищающей людей.

Проходят годы. В полном камуфляже
приходит Август кончить старика,
но бывший мальчик не дрожит и даже
чему-то улыбается слегка.

Никита Елисеев

ПЕЙЗАЖ ПОЭЗИИ

Лев Лосев — один из лучших поэтических псевдонимов, мне известных. Начать с того, что имя ЛЕВ вписано в фамилию ЛосЕВ. Является, так сказать, ОСью фамилии. Лось, он ведь известно кто, он — лев северных лесов. У него — огромная корона; он — добрый, могущественный зверь. И, кроме того, лось — очень похож на еврея, а от этого наследства Лосев ни в коем случае не отказывался: эта «пренатальная память» всегда была с ним, как «Испанский пейзаж…».

Начну издалека, с того стихотворения, которое я прочел давным-давно и запомнил сходу, хотя и не всё, к сожалению, но… начало и финал отпечатались так, словно бы я сам их написал. (В этом тоже особенность поэзии и поэта. Поэт — только о себе, о своем мировосприятии, как вдруг находится кто-то, кто радостно выкрикнет: да ведь и я так же точно чувствую, только сказать не могу!)

«Понимаю: ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но паршивого, русского духа
не терплю», — говорил мне поэт…

Далее залп отборных, умелых, смешивающих важное и неважное русофобских ругательств, завершающихся неожиданно, но вполне закономерно — бурлеском, трагикомическим оборотом:

Вот уж точно — страна негодяев.
И сортира приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
И глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

Это неназывание, огибание словами чего-то главного — особенность настоящей поэзии. Реципиент должен это главное почувствовать

и уже сам, в силу своего понимания и умения, сформулировать. Например: вот именно в такой апокалиптической стране, где ежевечерне погибает «архангел с трубой», где и «сортира приличного нет», где не продохнуть от «этой водочки, этих грибочков», от «стишков и грешков», где ненавистны «наших бардов картонные копья и актерская их хрипота», именно здесь только и могут появиться «Чадаев» и поэт с «прекрасною русскою речью», отлично знающий, что главное не называют, а огибают, оставляют неназванным, отчего это главное становится убедительнее.

(Поначалу я думал, что поэт — Бродский, а потом обратил внимание на архангела и, вспомнив: «В небесах стоит Альтшулер в виде ангела с трубой», решил, что речь идет о Леониде Аронзоне. Теперь же я полагаю, что это совершенно всё равно, какой поэт. Просто поэт. Тот, о котором Слуцкий писал свой «Случай».)

«Понимаю…» — выстроено по любимому мной принципу: начавши за упокой, оно завершается во здравие. Громкая площадная ругань обрывается тишиной, молчанием; признание в ненависти становится признанием в чем-то другом, уж не в любви ли? Вот это «важное» — пожалуй, лучше всего «обогнуть речью», не назвать.

По такому же типу выстроено стихотворение Тютчева «14 декабря», в котором вспышкопускатели, вероломные путчисты, развращенные самовластием (надо полагать, не только русским, екатерининским, но и французским, бонапартовским) оказываются героями, рыцарями, мучениками, пытающимися растопить своей скудной кровью вечный полюс.

Возьмем другое стихотворение, что понравилось мне, пожалуй, так же сильно, как и «Понимаю, ярмо, голодуха…». Мне сходу запомнилась кульминация:

Еле слышно — «Учти, коммунисты — предатели» —
Шелестит: «Марокканцы поставят нас к стенке».
…Мы гуляли, глазели и весело тратили
евроденьги.

Вообще, Лосев принадлежал к тому редкому типу поэтов, что могут политику превратить в поэзию. У Томаса Манна было такое рассуждение, мол, религия и поэзия — область человеческого, перед которой политика исчезает как туман под лучами солнца, но поэзии не возбраняется заниматься политикой. В этом случае поэзия очеловечит политику и *веселым чудовищем* проникнет в самую суть трагического».

Итак, «Испанский пейзаж с нами». Я был так потрясен этим стихотворением, что не сразу обнаружил аж двойную цитату в названии.

Ну да, разумеется, у кого-то «Киров с нами», а с нами — испанский пейзаж, пейзаж после битвы, да не просто битвы, а после поражения. Для кого-то Киров был надеждой и тем, что останется до победы и до… очеловечивания режима и политики, а для нас — вот этот пейзаж… не то чтобы надежда, и даже вовсе не надежда, а нечто ей гегеншпильное.

К этому стихотворению мне видится еще один эпиграф, на сей раз из статьи Дж. Оруэлла о Гражданской войне в Испании: «Я сказал Кёстлеру: „Для меня история остановилась в 1936-м“. — „Конечно“, — ответил Кёстлер». Я процитировал этот диалог в одной из своих «новомирских» статей, и милейшая, право, неглупая и образованная библиографиня Анна Иосифовна спросила: «Что же это они только в 1936-м притормозили?» Мне совершенно нечего было ей ответить. Я не мог ей объяснить, почему разгром европейского антифашизма в Испании был… да… концом истории. Вот это (по-моему) и является задачей стихотворения Лосева: невозможность объяснить, почему история остановилась в 1936-м, и попытка эту невозможность преодолеть. Своего рода «Памяти Каталонии», то есть «Оммаж на верность Каталонии»*.

Замечателен эпиграф из стихов отца Лосева — «В Мадрид приехал журналист». Он становится понятен по прочтении всего стихотворения. Поначалу не очень понятно: ну, приехал и приехал, мало ли куда ездят журналисты? Тем более, Испания, бой быков, пальмы, «ночь лимоном и лавром пахнет». Как вдруг выясняется, что речь идет о другой Испании, о другом журналисте. Он едет в страну первого всеевропейского сопротивления фашизму, в результате которого, может быть — кто знает? — и советский режим утратит фашизоидные черты. (Наверняка далее следовала цитата из «Детской болезни левизны…», мол, после мировой революции Россия снова станет отсталой страной уже в «советском», в «социалистическом» смысле…) Но речь идет не о том журналисте с его ошибками, верой, разочарованием, а о его сыне — наследнике ошибок, разочарования, веры отца. Он попадает в Испанию уже после всего. После того, как «Франко спас Испанию от коммунистической чумы» (ведь так тоже можно сказать), после того, как испанская «перестройка» Хуана Карлоса избавила Испанию от франкизма, мягкого варианта фашизма (а вот так точно можно сказать).

---

* Имеется в виду книга воспоминаний Дж. Оруэлла о войне в Испании; одна из любимых книг и Л. Лосева и И. Бродского (сообщено автором статьи. *Ред.*).

Испанский пейзаж с нами

> В Мадрид приехал журналист.
> *Владимир Лифшиц*

Как турист прокатился с женой по Испании,
пил плохое вино и закусывал постно,
словно книгу читал в слишком новом издании
и вообще слишком поздно.

От печальных бульваров с подъездами барскими
Барселоны на юг, к андалузским оливам,
не якшаясь со взрывоопасными басками,
к молчаливым

арабескам Альгамбры, как письмам непосланным,
к темным ряби арабской в прудах отраженьям —
к тем разбросанным письмам по мерзлым, обосранным
теруэльским траншеям.

С той забытой, с той первой войны что кричат они?
С той войны, где отец мой хотел быть убитым,
что молчат? — неподписаны, но припечатаны
колесом и копытом.

Еле слышно — «…учти, коммунисты — предатели…» —
шелестит — «марокканцы поставят нас к стенке…».
…Мы гуляли, глазели и весело тратили
евроденьги.

Против слова «Испания» выставим галочку
и по этому поводу выпьем маленько.
Эх попросим испаночку сбацать цыганочку —
фламенко.

Начало стиха — любимейший мой прием в русской поэзии: перевод бытовой разговорной интонации в стиховой размер; обнаружение стиховой стихии в обыкновенном разговоре. «Асеев пишет совсем неплохие, очень хорошие статьи, но, впрочем, статьи не его стихия, его стихия это — стихи» (Б. Слуцкий), или: «Ты читал газету „Правда“? Слушай,

Лёва, почитай! Там такую режут правду, льется гласность через край» (Т. Кибиров). Итак: пожилой усталый человек отвечает на вопросы, как он провел отпуск, вздыхает, устраивается поудобнее: «Как турист прокатился с женой по Испании…» Всё — понимают присутствующие — сейчас начнется: жара, море грязное, пища отвратительная, вино — кислятина… И почти не ошибутся.

> пил плохое вино и закусывал постно,
> Словно книгу читал в слишком новом издании
> и вообще слишком поздно…

Вот эта «книга в слишком новом издании» — сигнал, знак того, что поэта, который среди детей ничтожных мира, конечно, всех ничтожней, сейчас потребует к жертве Аполлон. Только это — особый, особенный Аполлон. Газетчик? Журналист? Историк? Историософ? Словом, другой…

Почему слишком поздно? Почему книга в слишком новом издании? Потому что всё уже произошло, поражение состоялось, это поражение — в крови, в памяти европейской демократии, его уже не переиграть.

> От печальных бульваров с подъездами барскими
> Барселоны на юг, к андалузским оливам,
> не якшаясь с взрывоопасными басками,
> к молчаливым… —

движение стиха спирально, Лосев ведет читателя, опять что-то огибая, не называя… пусть сам догадается, а не догадается, так почувствует. Почему «бульвары — печальные»? Потому что здесь в 1936 году расстреливали спровоцированное НКВД и коммунистами фактически безоружное выступление троцкистов и анархистов. (Не исключу, что широкие пустые бульвары Барселоны, действительно, печальны. Это ж модерн, а модерн не может складываться в ансамбль, как классицизм; каждое здание стремится выломиться из общего ряда, стоит на особицу, одиноко… Одиночество всегда печально…) Движемся дальше на юг к «взрывоопасным баскам», но мы с ними «якшаться» не будем, хотя они тоже наследники той эпохи, уничтожившей их древнюю столицу, Гернику. Они тоже вписаны в пейзаж после битвы, пейзаж после поражения…

«…К молчаливым…» — анжабеман, будто человек, утомленный долгой тирадой, устал, набрал полные легкие воздуху, сейчас заговорит о том, к чему собственно он и вел, для чего и стал отвечать на вопрос,

как провел отпуск… — «арабескам Альгамбры, как письмам непосланным, / к темным ряби арабской в прудах отраженьям…» Коль речь идет об «арабесках», то она и сама должна быть вычурной, сама должна повторять арабскую вязь дворцов, прудов, парков.

Отчего, спрашивается, «письма непосланные»? Может, оттого, что «арабески Альгамбры» — остаток, обломок совершенно особой цивилизации, уничтоженной фанатиками-христианами мусульмано-иудейской Испании, с ее фантастическими для средневековья веротерпимостью, техникой, образованностью… Альгамбра, Гренада — последний оплот этой цивилизации. «Откуда у хлопца испанская грусть?» (вот еще один подразумеваемый эпиграф к стихам Лосева…) Да всё оттуда же… из общей мечты человека и человечества о том мире, где «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся» (Александр Пушкин — Адаму Мицкевичу), где не будет «ни рабов, ни гладиаторов, ни рудиариев» (Джузеппе Гарибальди — Рафаэлю Джованьоли).

Осколком этого мира была Альгамбра. Здесь же, рядом с ней, другая попытка прорваться к этому миру, столь же, а может быть и еще более, неудачная… Переход к этой другой попытке — резкий, неожиданный, как «нате», как бранное слово, расположившееся рядом с Альгамброй и арабесками: «к тем разбросанным письмам по мерзлым обосранным / теруэльским траншеям». Вот какой пейзаж «с нами» — теруэльские «обосранные траншеи». Траншеи поражения. («Кольцов, посмеиваясь, рассказывал новый анекдот: „Теруэль взяли…“ — „А жену?“», чем не четвертый эпиграф? Тем паче, что вот кто был журналистом, и журналистом гениальным, так это, конечно, Илья Эренбург…)

«С той забытой (ну кто сейчас помнит о гражданской войне в Европе, длившейся столько же, сколько и начавшаяся после нее мировая война? — *Н. Е.*), с той первой войны, что кричат они? / С той войны, где отец мой мечтал быть убитым (поскольку был умен и понимал, к чему идет дело, так уж лучше погибнуть здесь… — *Н. Е.*) Что молчат? (поскольку убиты и адресаты, и отправители; поскольку язык, на котором написаны эти письма, язык левых интернационалистов мертв для современности. — *Н. Е.*) — неподписаны, но припечатаны колесом и копытом…».

Простая бытовая деталь становится символом точно так же, как разговорная интонация делается стихами… Колесо военной машины и копыто кавалерийской лошади, припечатавшие письма убитых республиканцев, оказываются колесом истории и подковой лошади из Апокалипсиса. Вот подписи этих писем. Наступает кульминация стиха. Здесь уже и намека нет на пожилого туриста, жалующегося на общепит Испании (Вы подумайте! Европейская страна, Евросоюз — а такой дря-

нью кормили…), здесь говорит поэт, умудрившийся давно сгинувшую политику оживить, очеловечить; смогший расслышать шелест исчезнувших писем исчезнувших людей.

> Еле слышно — «…учти, коммунисты — предатели…» —
> шелестит — «марокканцы поставят нас к стенке…».

Открытого, яростного, пиитического пафоса хватает на первые две строки, но тем этот пафос сильнее, убедительнее. Предательство коммунистов, расколовших Народный фронт, жестокость марокканцев, ударных частей Франко, — эпизоды, но эти эпизоды оказываются равновелики гибели Альгамбры. Здесь становится внятной ирония истории: потомки веротерпимых образованных мусульман, изгнанных с полуострова фанатичными и невежественными рыцарями и монахами, оказываются в войсках христианнейшего Франко, режут и расстреливают тех, кто сражается за мир без «гладиаторов и рабов».

Словно расслышав эту иронию, Лосев одергивает себя: столько лет прошло, а тут: «…учти — коммунисты — предатели»! (уж давно все всё учли…) — и переходит к простой бытовой зарисовке, снова становится пожилым туристом: «Мы гуляли, глазели и весело тратили евроденьги»… Дескать, вообще-то хорошая получилась поездка, интересная. Это — для разговора, а для поэзии — да не волнуйтесь вы так, не рыдали мы навзрыд над обосранными траншеями: «Никто не забыт и ничто не забыто». Мы — гуляли, глазели…

(Это, вообще, свойство питерской (ленинградской) культуры, к которой Лосев принадлежал. Боязнь вольтажа, слишком сильной патетики. Лучше где-то не договорить, чем выплеснуть всё. Лучше сдерживаться, чем взрываться. Лучше печальная усмешка, чем истерика.)

Та самая печальная усмешка. Мир всё равно стал и становится единым. Не мытьем, так катаньем. Гегель — прав. Евроденьги — вот чем всё закончилось. Радоваться прикажете по этому поводу? Как-то не тянет:

> Против слова Испания выставим галочку
> и по этому поводу выпьем маленько.
> Эх попросим испаночку сбацать цыганочку —
> фламенко…

В этом стихотворении явлены все особенности поэта Льва Лосева. Он был умен и образован, склонен к точному афоризму: «Раз — победителей не славить, два — побежденных не жалеть»; «Семь с поло-

виной дураков смотрели восемь с половиной»; «Заменою счастья — стремленьем живых к взаимной своей несвободе», ну и, конечно: «Умом Уганду (пардон, Россию) не понять…» При всей разности этих поэтических высказываний в них есть нечто общее, что можно обозначить словами: ум, ирония, точность.

Быть умным поэтом в России непросто. Здесь и горе не то от ума, не то уму (как бы разобраться, кто там умный-то? Понятно, что не Чацкий… Софья — и названа соответственно…), и поэзия должна быть глуповата, да и вообще — умный в России — ругательный эпитет. Чтобы стать ругательным доброму, к примеру, надо обзавестись уменьшительно-ласкательным суффиксом -*еньк*, а умный и без суффикса… умный.

Если осматривать окоем европейской поэзии, то первым умным поэтом окажется Гейне — личный друг Тютчева и идейный враг Жуковского. Поэзия Лосева — родственна, сочувственна именно его поэзии.

Как и Гейне, Лосев великолепно чувствует смешное: «Тургенев любит написать роман „Отцы с ребенками“ — отлично, Джо! Пятерка!», но Лосев всегда останавливался за шаг до откровенного комикования. Лосев — настоящий мастер смешного в стихах: «„Я на кого похож?“ — спросил он у забора. / Забор сказал, что мог при помощи трех букв». Поневоле фыркаешь, даже если вовсе не был расположен смеяться, читая эти строчки.

А невероятная, усталая какая-то, немного раздраженная историософия быта и бунта в России? И снова — сдвоенная цитата, на этот раз из «Капитанской дочки». Сначала — про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а уж потом про сон Гринева, воплотившийся уже не только и не столько в историю, сколько… в быт, в печальную и бурлескную обыденность. В стихотворении «Поправка к истории» реплика пожившего человека, раздраженного чрезмерной ученостью спорящих перерастает в злое, безжалостное описание того, как бунт в России вырастает из быта; да он, собственно, и не вырастает — быт России и есть тот самый перманентный бунт, не перманентная революция по Троцкому и Парвусу, а бунт по «Капитанской дочке».

При чем тут Ленин, эсеры, Бунд?
Не так беспощадно-бессмысленный бунт
делался до сих пор.
А выйдет субтильный такой мужичок,
почешет рептильный свой мозжечок,
да как схватит топор!

Свою избу разнесет в щепу
и страшным криком «Я всех гребу!»
повеселит толпу.

И тут набегут мусора-опера,
начнется изъятие топора
и советы веселой толпы вокруг
насчет вязания рук.

И будет он срок в болоте мотать
и песню мычать про старуху-мать,
мокредь разводя по лицу,
и охраны взвод будет — ать-два-ать-
-два! — маршировать на плацу.

«При чем тут Ленин, эсеры, Бунд?» — великолепное, in media res начало. Сразу видишь «предшествующее событие»: сидят интеллигентные, неглупые, начитанные люди… не без монархизма, не без антисемитизма, такого… в цивилизованных рамках, сидят и разговаривают: «Но, конечно, Ленин… Конечно! Гений! Гений политики, гений зла, разрушения, но гений — этого нельзя не признать. Без него ничего бы не получилось…» — «Нет, нет! Ленинское злое семя упало в подготовленное не им лоно. Эсеры! Вот кто своими бомбами, своей пропагандой расшатал государственность в России… Недаром именно их аграрную программу Ленин взял в качестве своего демагогического декрета о земле…» — «А евреи? Не надо забывать о еврейском элементе русской революции. Ведь Бунд…»

Вот тут молчавший до сих пор человек не выдерживает:

При чем тут Ленин, эсеры, Бунд?
Не так беспощадно-бессмысленный бунт
делался до сих пор.
А выйдет субтильный такой мужичок,
почешет рептильный свой мозжечок,
да как схватит топор…

Великолепное описание российского «перекувырка» и не менее великолепное описание российской «контрреволюции», так сказать, «восстановления законного порядка».

И тут набегут мусора-опера,
начнется изъятие топора
и советы веселой толпы вокруг
насчет вязания рук…

Вот эти «советы веселой толпы вокруг» — как раз пример «огибания речью» сюжета. Не нужно воспроизводить все эти советы, мы и так их слышим, мы видим толпу, окружившую оперов, вяжущих хулигана. Лосев владел этим свойством настоящего писателя: огибать речью то, что читатель благодаря этому огибанию начинает видеть.

Лосев умел передавать речевой жест. В страшных (и смешных) «Стансах» есть один такой, благодаря которому становится виден и весь modus vivendi вторгшегося в текст «чужого». Легкое такое покачивание в облаке из перегара, агрессия, оборвавшаяся недоумением: «Он не еврей? Подымем, отряхнем…»

«Стансы», вообще, одни из самых страшных и ироничных стихов Лосева. Грамотно составленный ответ на «В надежде славы и добра…», «Столетье с лишним не вчера…» и «Я не хочу средь юношей тепличных…». Мол, великие предшественники, позвольте мне тоже внести коррективы. Я, конечно, понимаю: Гомер, Мильтон и Паниковский, но всё-таки… какое уж тут «примирение с действительностью», когда

при мне посередине площадей
Живых за шею вешали людей,
Пускай плохих, но там же были дети!

Понятно, понятно — военные преступники и с ними иначе нельзя, вы понимаете, публичная казнь это было такое… народное гуляние, аттракцион такой у кинотеатра «Гигант»:

Вот здесь кино, а здесь они висят,
качаются — и в публике смеются.
Вот всё по части детства и уютца,
Багровый внук, вот твой вишневый сад…

Эта и есть та действительность, с которой сто́ит-не-сто́ит примиряться. И «сфинкс» — душа, загадка действительности — ей под стать.

…в узком переулке встретил Сфинкса,
в его гранитном рту сверкала фикса,
загадка начиналась словом «блядь».

Разгадка начиналась словом «Н-на!» —
И враз из глаз искристо-длиннохвосты
посыпались сверкающие звезды,
и путеводной сделалась одна…

Маршрут указан: поэт с битыми, с проигравшими, во всяком случае — не с победителями. («Важно не примкнуть к победителям. Не приветствовать их парад…» *Б. Слуцкий*). «Неприветствие парада победителей» — органическая черта Лосева. Смотри удивительное его стихотворение о том, как в России по недомыслию или по дьявольскому расчету в очередной уже раз делают поколение фронтовиков:

Да, заря победы всегда заря новой войны.
Превратить этих мальчиков в свору зверья —
Как два пальца и хоть бы хны.

Тот, кто в шаль заботлива кутал мать
и невесте дарил кольцо,
может завтра руку ребенку сломать,
сапогом наступить на лицо….

Из всех откликов на Чечню и Афган — этот самый больной и точный. Ореол метра. Таким стихотворным размером Киплинг и Борис Слуцкий писали свои баллады:

Я топил лошадей.
Я людей спасал,
Ордена получал за то,
А потом в стихах всё описал.
Ну и что? Ну и что? Ну и что?

Лев Лосев недаром принадлежал в юности к компании поэтов (Владимир Уфлянд, Михаил Ерёмин, Михаил Красильников), названной, пусть и иронически, «филологической школой». Он — сознательно литературен. Литература для него такая же жизнь. В ней перекликаются,

как в жизни. Постороннему не всегда внятна такая перекличка, но если вслушаться — услышишь.

Сапгир

С чего бы вдруг? Приснился мне Сапгир,
как будто на приеме в пышном зале.
Я подхожу. «А мы друг друга знали», —
я говорю. Но он меня забыл.

Вокруг него клубятся облака
и — наискось — златых лучей обвалы.
Да это рай! Да, рай для добряка-
-поэта, объедалы-обпивалы.

В костюме, в галстуке, не на меня глядит —
на водочку на донышке стакана.
И так беззвучно говорит: Осанна!
И неподвижно в облаке летит.

Грустным эхом, печальной перекличкой здесь звучит чуть переиначенная начальная строка из «Письма в оазис» Иосифа Бродского: «С чего бы вдруг?» («С чего бы это вдруг?»). Здесь не то чтобы возражение, а… печаль, мол, вот ведь перед уходом и поссорились, наговорил резкостей, а зачем? И «оскомина во рту от сладостей восточных» из стихотворения Бродского перекликается с сапгировским раем для поэта-добряка, «объедалы-обпивалы» — разве он не заслужил рая? Сибарит, щеголь и обжора — ну и что?

Лосев по праву понимал себя завершителем некой поэтической традиции. Поэтом, который, при всей своей иронии и склонности к литературной игре, занимается чрезвычайно серьезным, важным делом. Почему оно серьезно, это умелое складывание слов в поэтические строчки, — словами не объяснить. Можно только очертить, обогнуть эту серьезность словами же.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОДЛЕННЫЙ ДЕНЬ И ДРУГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ

ПРОТИВ МУЗЫКИ

УРОК ФОТОГРАФИИ

II

III

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ
1987–1996

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1996–1998

I

II

III

SISYPHUS REDUX
1997–2000

РУЖЬЕ (Петербургская поэмка)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЬЯМ НА 2000-й ГОД

КАК Я СКАЗАЛ

ГОВОРЯЩИЙ ПОПУГАЙ

По вопросам, связанным с приобретением книг
Издательства Ивана Лимбаха, обращайтесь
к нашим торговым партнерам:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Торговый Дом «БММ»
129626, г. Москва, пр. Мира, д. 68 стр. 1А,
тел.: (495) 984-35-23; e-mail: ofice@bmm.ru

Представительства в Санкт-Петербурге:
«Систем-книга» (Буквоед)
Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, тел.: (812) 346-53-27

СЗКО
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 84, лит. «Е»,
тел.: (812) 365-44-81

Лев Лосев

Стихи

Редактор *И. Г. Кравцова*
Корректор *О. И. Абрамович*
Компьютерная верстка *И. Ю. Травкин*

Подписано к печати 06.02.2012 г. Формат 70х100 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура Helvetica. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1058.

Издательство Ивана Лимбаха.
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 28А.
E-mail: limbakh@limbakh.ru
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано по технологии CtP
в типографии «Береста»
194084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28